АЙДАР САХИБЗАДИНОВ

Провинциал

ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Айдар Сахибзадинов

Провинциал. Рассказы и повести

«Татарское книжное издательство»

2015

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)-4

Сахибзадинов А.

Провинциал. Рассказы и повести / А. Сахибзадинов — «Татарское книжное издательство», 2015

ISBN 978-5-298-03006-9

Айдар Сахибзадинов – признанный мастер реалистической прозы. В книгу «Провинциал» включены рассказы и повести. От ранних, которые поражают необыкновенной ёмкостью, особой зоркостью на детали с их поэтической фиксацией, до поздних, таких как «Апологет» и «Мизантроп», в которых автор сдвигает тектонические плиты эпох методом изощрённым, арабесковым. В документальных повестях «Я – дочь Исхака» и «Красные маки» автор модифицирует эмпирическую достоверность повествования в документ, подбирается к разрешению актуальной для современной литературы коллизии: что приоритетнее – частный человек или государство. «Природа одарила Айдара интуицией. Он талантлив своенравно, ярко. Его проза ощущается физически, случайных сюжетов нет…» – писал о текстах Сахибзадинова Рустем Кутуй. Сказать проще, книга «Провинциал» – живительный источник для любителей художественного слова.

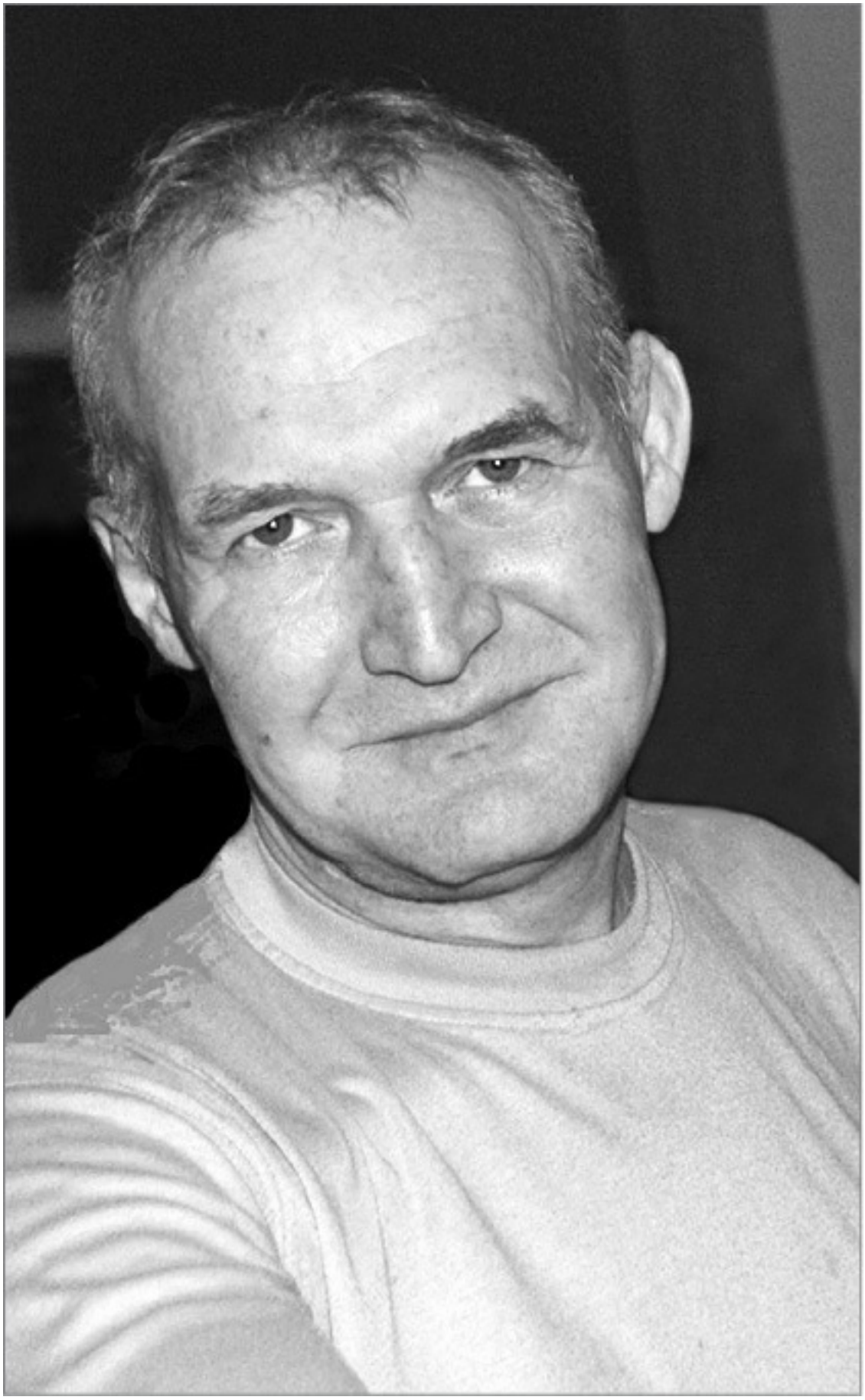
УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)-4

ISBN 978-5-298-03006-9

© Сахибзадинов А., 2015
© Татарское книжное издательство, 2015

Содержание

Рассказы 7
Рыба 7
Провинциал 9
Грибы 16
Мальчишеское 19
Первомайское 21
На Волге 23
Алёна 33
Неандерталец 37
Апологет 45
Всё впереди 49
Корни 52
Ночное 54
Бабушка 56
Вася-предтеча 57
Энже 61
Материн гостинец 63
Костры 65
Мизантроп 70
Вояж 76
Такая жестокая 79
Велосипед 84
Неевклидова геометрия памяти 85
Родительское собрание 94
Конец ознакомительного фрагмента. 111



Айдар Сахибзадинов
Провинциал: рассказы и повести

© Татарское книжное издательство, 2015
© Сахибзадинов А. Ф., 2015

* * *

Рассказы

Рыба

Я работал в охране на берегу Волги. Несколько мужиков на дебаркадере ловили зыбкой рыбу, опускали огромный квадрат сетки в воду и через несколько минут поднимали уже с рыбой. Рыба шла крупная. Её забирали сачком и бросали в бидон.

Я курил рядом. Какая-то рыбина в бидоне билась особенно сильно.

Я выбросил сигарету и вынул из бидона большого судака. Он притих.

Взяв его поудобней обеими руками, я поднял его над головой, разглядывал: твёрдые брови, крепкая волевая челюсть, как у аскета, шевелит ею, будто дожёвывает попкорн. Смот-

рит сурово, в глаза. Мутным взором – из глубины веков, с берегов моих предков – вовсе не пища, а разумное существо. Оно разглядывало меня. Я ужаснулся.

Мужики галдели, они были пьяные, я присел и тихо выпустил судака в воду. Он ушёл тихо, не ударил хвостом, будто нарочно, чтобы мужики не услышали и не заругали меня.

С тех пор я не рыбачу, вот уже лет двадцать.

Сентябрь, 2015

Провинциал

Московский метрополитен. «Киевская». Явно одни хохлы. Вот идёт женщина, тучная, в очках, с чемоданами в руках, наверняка зазнайка с Крещатика. И даже если учесть, что у неё интеллигентный вид, тонированные очки с золотой оправой, мелированные волосы, можно утверждать, что у неё в чемоданах сало. Не слоистое, с бурыми полосками мяса, как любят делать в Нечерноземье, периодически моря свинью голодом, – а толстое, нежное и розоватое, густо напитанное по махровому жиру солью. А вот в вагоне сидит напротив тебя чернявый субъект. Он вместе с тобой спускался по эскалатору. Лицо в дробинках, ресницы черны, будто только что разбирал старую печь и на глаза пала сажа. Взгляд хитёр и прищурлив. Это явно потомок Мазепы, а если глубже – половецкая кровь! Смотрит недоверчиво, готов продать с потрохами.

Едешь дальше. Бывшая «Лубянка». Здесь, кажется, ходят одни стукачи. Вон старичок на лавочке, всё ездит кругами по Кольцевой. На голове – «сталинка», сидит дремотно, раковины ушей чрезвычайно извилисты и глубоки. Это слухач. По старой памяти он каждый день выходит на работу.

Вагон с воем несёт сквозь пещерную темень. Впереди свет, будто въезжаешь в обитель солнца. Это «Библиотека имени Ленина». Замысловатые арки. Тут ты стараешься выглядеть поумней и прячешь меж колен газету «Спидинфо», которую купил в дорогу. Здесь во всём – в академической кладке кирпичных стен, в арочной конструкции переходов, в самом отсутствии пёстрой толпы – ощущается дух просвещения.

На курском вокзале, естественно, пахнет Курском, хоть в Курске ты ни разу не был. Но тебе кажется, что Курском должно пахнуть именно так: маслянистым ветерком и бетонной пылью, уносящейся вслед за электропоездом.

А вот площадь триумвиратов. Казанский вокзал. Да-а. Одни татары. Все скуластые, все узкоглазые. Хоть и говорят на международном – нашем, великодержавном. Но где же чистая русская кровь? Вот опять – потомок Чингисхана, чёрный, с прищурливыми глазами и длинными ресницами. Фу ты, чёрт его дери, да это же тот чернявый с Киевского! Ехал с тобой в одном вагоне. Теперь ты его разглядел! Это не взгляд Мазепы. И не прищур половецкого лазутчика, что травил воду в колодцах осаждённого Киева. Тут скрытая за вышитой рубахой шкура целого печенега!

За прилавками здесь одни татарки. Смотрят с презрением на твои ботинки. Острые желваки и выбеленные перекисью водорода тюркские волосинки. Их мужья ловят тебя прямо на выходе из вокзала. У них в авоськах – упаковки с утюгами, тестомешалки и прочая утварь. Берут тебя под руку. И вежливо представляются, что они – из передачи Андрея Макаревича «Смак». «Вы знаете Андрея Макаревича?» – с некоторым недоверием к провинциалу спрашивают они. «А как же!..Машина времени”!» – гордо отвечаешь ты. «Нас снимает съёмочная группа, – говорят тебе. – Вон видите в окне третьего этажа камеру? Можете помахать рукой» – «Можно?!» – ты не веришь внезапной удаче. «Улыбайтесь!» – добродушно советуют тебе. Какие замечательные люди! И ты лыбишься во все лопатки, машешь рукой. Хотя и не видишь среди отсвечивающих окон съёмочной камеры… Наверное, не можешь её разглядеть сразу. А мельтешить глазами, зыркать – выдавать в себе провинциала не хочется, выражение лица должно быть достойным!

Между тем молодой человек, то и дело поправляя выскальзывающие из подмышек коробки, продолжает:

– Съёмочная группа «Смак» во главе с Андреем Макаревичем проводит благотворительную акцию. Мы дарим хорошим людям или распродаём почти за бесценок импортную кухонную утварь. Вот это и это вы можете взять бесплатно.

Тебе показывают сковородки, миксеры. Ты рассматриваешь их с алчностью. «Боже, какая удача! Сколько можно на одних подарках сэкономить! Тёте Розе – утюг, бабушке Газизе – электрическую мясорубку!»

– Можно уже забирать? – спрашиваешь в нетерпении.

– Маленькая формальность. Надо уплатить налог.

– Пустяки! – говоришь ты, протягивая руки к предметам.

– Налог – три тысячи рублей.

При этой цифре ты застываешь, будто подавился. Три тысячи? Так у тебя на всю поездку – пять!

И тут ты понимаешь, что тебя хотят надуть. Что это не съёмочная группа, а просто аферисты. И ни при чём тут Макаревич! Его именем просто пользуются!

– Три тысячи рублей, – повторяют тебе.

В груди твоей стягиваются и морщатся фибры, словно смачные губы верблюда. Сейчас верблюд плюнет… Но в последний момент ты соображаешь: тут столица. Матом нельзя. Хотя бы призвать японского городового…

– Сикоко, сикоко? – спрашиваешь ты, косоглазо прищурясь.

– Три тысячи.

…Кто так стремительно, ой-ой! летит ракетой под землёй? Кто так безумно озабочен? Куда опаздывает очень? Кто мелькает среди низких колонн между Казанским и Ленинградским вокзалами, наскакивает на прохожих? Это не зашухеренный щипач и не грабитель ювелирной лавки. В его кармане не кошель и не золотые цацки, схваченные через окошко. Можно побиться об заклад, что в пистоне у этого человека сильно жжётся, горит бенгальский огонь – билет на поезд «Москва – Санкт-Петербург». Он опаздывает на посадку, – и ты так стремительно виляешь по переходу, что тебе начинает казаться, что ты – это почти уже и не ты… А там на площадке, где визжит музон, мельтешит пестрота и гиды из автобусов заманивают прошвырнуться с ветерком по Москве, – там человек с коробками под мышками валяется на асфальте и шёпотом кроет небеса. Не тратя пару. Ибо знает, что всё равно никто его не услышит, что всем на него наплевать. Между тем никто не бил его кулаком по лбу. Его всего лишь оттолкнули – и, самоуверенный, вальяжный, с товаром под крыльями, от неожиданности он попятился и растянулся…

Ты выходишь к Ленинградскому вокзалу, как ни в чём не бывало.

Навстречу тебе идёт миловидная девушка, держит в руках пачку журналов. Протягивает с улыбкой рекламные издания: «Стройку» и «Строительный сезон».

Ты шарахаешься от неё, как верный муж от проститутки.

– Так это же бесплатно!.. – с милой обидой тянет девушка.

– Ага! – кричишь ты, удаляясь, и кажешь ей кукишь: – Во!

Посреди площади сидит парень на четвереньках, окружённый толпой. Ты подходишь. Напёрсточник! За работой. На асфальте катает бумажный шарик. У него три напёрстка. Шарик он накрывает одним и возит все три по асфальту, мороча голову. Как ловок, подлец! Ты следишь за его руками, раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Шарик там – шарик здесь. Шарик там – шарик здесь. «Ну, где?» – останавливается парень, поднимая глаза к зевакам… Желающему откроют напёрсток за тысячу рублей. Выигрыш – две. Взгляд у тебя острый, ты точно знаешь, под каким напёрстком шарик, хотя и водил парень колпачки быстро.

Тут к тебе обращается один из зевак, он уловил твой уверенный взгляд и торжество победы в глазах.

– Давай на двоих! Ты пятьсот, а я часы, – и парень кивает именно на тот напёрсток, под которым ты зафиксировал шарик. – Давай!

– Играй, зёма! – подсказывает тебе другой. – Эх, жаль, бабок с собой нет!..

– Вон же, вон! – кивает первый, расстёгивая на кисти браслет, у него так отчаянно, так честно горят глаза! – Ну, братан!

Он торопит тебя, страдает…

Но стоп! Во-первых, о столичных напёрсточниках ты уже слышал. Во-вторых, тут уже нашкодил «представитель передачи, Смак,». Значит, и этот – подставной.

– А если я врежу? – холодно спрашиваешь ты.

– Врежем потом! Не тасуйся!..

– Я говорю: в репу. Чтоб из часов выпрыгнул, – поясняешь ты.

Ты доволен, что тоже умеешь по фене….

Но первый натренированным кулаком режет тебя в челюсть он. А прежде, чтоб хорошо подставился, сгибается и бьёт каблуком по пальцам твоей ноги. По тем многострадальным, обмороженным ещё в армии косточкам, которые зябнут даже летом, а по ночам немеют в кошмарной судороге, будто их клинит кислым электротоком. Подбегают тем временем ещё двое и отшвыривают тебя пинками к ограде. Средь бела дня в центре столицы ты летаешь, крутясь, по забору. Когда мельком замечаешь бегущую к тебе милицейскую форму, приходит спасительная догадка: мутузить сейчас перестанут.

Но милиционер сжимает твою голову под мышкой, другой заводит за спину руки и надевает наручники. Тебя уводят в дежурку, что на вокзале.

Если бы ты был подшофе, ты орал бы: «Гестапо!» и заработал бы «ласточку». «Ласточка» – это когда выворачивают за спину конечности, стягивают в пучок кисти и лодыжки, бросают грудью на пол, и ты всю ночь крошишь грудную косточку о бетонную твердь оплёванного пола.

Но ты трезв, и это видят господа милиционеры.

Они что-то пишут в замусоленном журнале. Лица у них кавказские; кругом убогая утварь, запах кислятины, и тебе кажется, что ты в пригородном вокзале Махачкалы. Наконец обращаются к тебе, вскользь разглядывая поцарапанное лицо.

– Ты что нэ знаешь, что курить в крытом помещении вокзала запрэщаэтся?

– Чё-о?

– В саранчо!

– Подписывай бумагу, – говорит сержант.

– Или будэшь сидэть до утра, – подхватывает другой. – Свидэтэли эсть, – показывает на урок, запертых в обезьяннике.

– Короче, плати штраф и уе…

– У. е. у меня нет, только рубли, – отвечаешь ты, сдавшись.

– …! – полностью проговаривает матерное слово сержант, выхватывая из рук жалкую твою наличку.

Ты выбираешься на улицу и закуриваешь с нарочито весёлым видом, будто вышел из кинотеатра после просмотра комедии. Однако на тебя никто не обращает внимания. Даже если б ты был голый, лаял, пел или взлетал бы опять нагишом в балетном антраша. С уклонами то вправо, то влево. И, может, посмотрели б лишь тогда, и то с укоризной за неуменье, когда б упал, не придержавший для равновесия паха. Это Москва! Наготу здесь обожают.

В этом ты убедился вчера ночью, когда земляк подвозил тебя на «шестёрке». На Тверском бульваре сзади вас осветила яркая фара. Одноглазый автомобиль, моргая, требовал места для обгона! Причём, со стороны чугунной ограды. «Он чё – глист? Там расстояние с локоть!» – чертыхался земляк. Но одноглазый протиснулся, вылез вперёд и стал мотоциклом! Это была японская «Ямаха». А потом мир качнулся… На задке мотоцикла сидела голая девица! Курчавая, как ангелок, завалясь вперёд, она обнимала мотоциклиста. Из-за вздёрнутого сиденья «Ямахи» её плеч почти не было видно. Зато явно выделялась выдвинутая задница. В свете фар она сияла, как луна, полная, белая, несоизмеримая с белокурой головкой. Мелькала пункти-

ром, будто неслась на метле, – мимо чугунной ограды, дворцов, колонн. Как будто махнула изумлённому в поздней творческой догадке гранитному Гоголю. Газ – и нет…

Ты идёшь в сторону Ярославского вокзала. Кругом ларьки. Там и сям сидят продавщицы. И опять татарки. Скорее всего, нижегородские. Несмотря на финно-угорские скулы, выщипанные брови, срезанные косы, в которые их бабки вплетали когда-то просверленные монеты с изображением «падши», не всякий орнитолог различит этих птах. Они притихли в мимикрии, чтоб не оштрафовали за отсутствие московской регистрации. Сколько на них золота, как любят эти азиатки украшения, кольца, серьги.

– Исанме, матурым! – склабишься ты, мол, здравствуй, красавица!

– Чио? – торговка выпячивает нижнюю губу, недоумённо враждебна, и азиатская скула тотчас превращается в мослак среднерусской бабы. Ты видишь даже её подворье с визжащими поросятами, угол горницы, заставленный иконами… Вот нагнулась, перебирает картонные коробки, в разрезе кофточки видно: прилип к влажной коже между грудей нашейный крестик.

Но нет, не обманешь! – противишься ты. – Это крещёная татарка, кряшенка.

А вообще, кто они, эти россияне? Национальные омутки, оставшиеся после океанской волны великих переселений? Поморы-новгородцы или полукрымцы с рязанщины? Или мордва, замешанная на вятицком маслице? Или перчённая мишарским норовом, податливая, как тесто, марийская особь? Иваны, родства не помнящие! Киевская набожность, финно-угорская робость, ордынская оголтелость, – может, всё это и есть соответственно: венценостность, всепрощенье и тот самый «беспощадный» бунт. Когда одна нация молится, другая режет, а третья плачет, чтобы простить. И всё в одном стакане! Вот она, загадка русской души! Неуловимая, как тайна напёрсточника. Шарик один, а колпаки разные. Поди, выскреби татарина, мордву или скифа! А во власти – всё «рука Кремля!», нетленная длань Шемяки, с его, Шемякиным, судом, грозящая чуждым пределам из загробья.

Уф!.. Наконец появился на площади русский мужчина, седовласый пенсионер с видом некоторой брезгливости на лице. Наверное, коренной москвич. Это видно по его животу, уютным сандалиям, летнему опрятному костюму. Да, да, это типичный москвич! Он чувствует своё превосходство над окружающими. Он не любит всё инородное, обожает жареную картошку и квасную окрошку с плавающим луком. Как я его узнаю! Это бывший лимитчик, штукатур-маляр, который стал мастером и вышел на пенсию. Это тот самый Иваныч, у которого по всей России лежат на погостах двойники, с постными лицами глядят с фотографий сквозь венки, облитые чернилами. Но он москвич и смотрит свысока. Вот он – великодержавный шовинизм! Это старший брат, привыкший давать подзатыльники младшим. Он не любит приезжих, не знается с соседями, не подаёт нищим, видя в каждом перекрашенного в блондина цыгана, но кормит в скверах ворон и голубей. Ах, эти его плетёнки, штаны на подтяжках!.. Как он умеет громко сморкаться в платок. Как чистит форсунки ноздрей, заталкивая туда палец с краем платочка, и пронзительно фыркает, трясёт головой! Он явно читает «Наш современник», ходит в церковь и на улице громко харкает в урну. Он почти трезвенник, законопослушен. Но как-нибудь на свадьбе у одной из племянниц, которых у него множество, во хмелю затеет спор о политике с каким-нибудь заучившимся студентом, тощим и наглым, самоуверенным и безответственно глумливым. И не выдержав этой наглости, самоуверенности и глумления, прямо за столом ткнёт этого студента пухлым кулаком в нос. А то и с мясом вырвет из его уха «педерастическую» серьгу! Вот он стоит и, щерясь, глядит на дорогу. Наверное, думает о судьбах России.

Вот ему позвонили на мобильный телефон. Он вынимает его из кармана и прикладывает к уху.

– Что? Иван Петрович? Какой Иван Петрович?! Я не Иван Петрович! – говорит он возмущённо и нажимает кнопку выключателя с силой, будто давит клопа.

Я старюсь ближе разглядеть его лицо. Ну конечно же, не Иван Петрович! Не похож. Иваны они светлее волосом, ниже ростом и манеры их как будто проще. Скорее всего, его зовут Пётр! Высок, слегка курчав. Сколько помню, на моём веку мне всегда встречались высокие люди с именем Пётр.

Но вот опять ему звонят. Он вынимает телефон и прикладывает к волосатому уху.

– Нет, я не Иван Петрович! – кричит он уже фальцетом. – Повторяю, не Иван и не Петрович!.. Ибо я – Иосиф Абрамыч! Да, представьте себе: Иосиф Абрамыч! Да, представьте себе: он самый!..

Ах вот оно что! Как ты сразу не догадался!.. По петлистым ноздрям, вьющейся седине, по виду этой скорбной брезгливости, с которой он глядел на пути. Это московский еврей. То есть обрусевший начисто! И Москва ему как вторая мать. Его и шилом отсюда не выковыришь. И, возможно, жена у него русская. Даже были две жены. Первая – какая-нибудь Катя, взятая в молодости по любви, а вторая – по причине его диабета умеющая делать внутривенные уколы медсестра Валя.

О, как они, инородцы, пропитаны нашей культурой, нашим великим и могучим. Всепронзающим. Подкупающим с потрохами. Они не ведают языка богаче и гибче. Для выражения еврейской боли он, русский язык, звучит пронзительней еврейской скрипки. И потому иной еврей более россиянин, чем какой-нибудь браконьер, беспощадно в ночи, как тать, с характерным кряканьем вырубающий берёзовую рощу, бьющий в берлоге мирно спящего косолапого. Они, инородцы, со слезами на глазах слушают в застолье песню «Хотят ли русские войны?» И для них Россия больше чем Родина!

Вон он подходит к маршрутке с распахнутой дверью. Заглядывает в салон. Места, увы, все заняты. И всё же он спрашивает у сидящих:

– Что – мест нет?

Ему отвечают:

– Нет.

Он долго о чём-то думает, стоит неподвижно. Почти безразлично. И вдруг опять спрашивает:

– Совсем нет?..

Люди в салоне переглядываются.

А он всё стоит, чего-то ждёт.

Он не то что не верит людям. Или своим глазам. Ему почему-то чему-то не верится. Это возрастное. И вовсе не связано с местом в маршрутке. И потому он скорбно глядит на дорогу…

Но вот ему звонят в третий раз. Телефон настойчиво трещит и брыкается в кармане, как живая рыбка. Он выдёргивает его трясущейся рукой, так что карман выворачивается и падают на асфальт ключи. Не слушая звонящего, он кричит в трубку:

– Я Иосиф Абрамыч, понимаете! И-о-сиф Абра-мыч! Вы это понимаете?! И вообще я – гражданин Израиля! И стало быть, молодой человек, перестаньте баловаться трубкой, иначе я сейчас позову милицию! Что? Это Ася?.. Господи, Ася!.. Ты понимаешь, Ася…

Ага! Гражданин Израиля… А я ведь об этом и сам знал! Вот так они, граждане Израиля. Все из себя, а без России жить не могут. Здесь они выросли, здесь первая любовь прошла, а в старом дворе под деревом зарыта любимая собачка… Настоящий еврей – это русский еврей. А Израиль для него так. Разрешённая иллюзия. Еврейский хадж. Но там у него нынче родины нет. Иудеи за православие называют его там гоем. А во время ссор вовсе – русской свиньёй. Куда ж теперь со свиным рылом? Особенно если денег в обрез, а новую трудовую жизнь начинать поздно? Конечно, обратно в Рассею. Иная пьяная мачеха привычней матушки-чистоплюйки. Россия встретит. Пусть грязными вокзалами, хамством, карманниками и попрошайками. Но встретит. И вечером какая-нибудь тётя Мара, когда-то красавица и партизанка, а ныне остриженная, полуразвалившаяся, со сползшими до щиколоток чулками на резинках откроет для

него в туалетной комнате кран. Громко и суматошно ударит о дно железной ванны щедрая струя горячей воды. А сама тётя Мара пойдёт в прихожую и станет звонить по телефону:

– Изя, это ты? И ты до сих пор в этой проклятой Одессе? И как ты ладишь с этими хохлами? Они зовут туда НАТО! Ты весь в отца. Когда пьяная матросня в октябре семнадцатого ворвалась в его аптеку, медицинским жгутом скрутила ему яички и заставила петь интернационал – о, как он пел! – он и после этого не сбежал в Америку! А потом с винтовкой в руках защищал от фашистов родной город.

Ах, шалопай, Изя! Я говорила тебе: не ешь столько шоколаду и яиц всмятку. Камешками ты расколешь унитаз. Геморрой лечат овсяным отваром. Кипятят овёс в большой кастрюле, а после на кастрюлю садятся. Да, штаны снимают. Да, когда чуть остынет. Это тебе не глазунья – сидеть на горячей сковородке, пока глаза не вылезут. Что ты говоришь!.. Новодворская в Одессе? Вышла за молоденького лейтенанта? На пятом месяце беременности?! Не может быть! Ах, это наша Ася!.. Разве я упомню всех своих племянниц! Кстати, её папа у меня. Да, вернулся. Куда нам в «калашный ряд»! Он в ванной. Лежит в соляной кислоте. Не растворился. Хотя тараканы в нашей воде растворяются…

Между тем, распаривая в ванной неприкаянные любимые косточки, вспоминая ещё вчерашних друзей на пляжах Мёртвого моря и эту московскую стынь с туманами, где даже эха нет, кричи – не докричишься, вдруг ощутит пилигрим на щеке слезу благодаренья, что не растратил в себе завещанную предками – в Вавилоне ли, в Египте, в Бердичеве – вековечную местечковую скорбь, которая и сделала его таким, какой он сам себе есть.

А Москва продолжает удивлять. Ты фотографировался с «живым» Лениным на Красной площади и с тунеядцем Горбачёвым, клянчащим на бутылку на Пушкинской.

Метро «Войковская». На лестничных ступенях и тротуаре лежат вповалку разжиревшие дворняги. От лени переворачиваются через оплывший позвонок то вправо, то влево. Рядом оставленные на газете сердобольными москвичами – беляши и ватрушки. Масля бумагу, лежит в красной корочке куриный окорочок, который псы не едят из-за подгорелости. И на эту снедь, мечту провинциальных пенсионеров, с завистью поглядывает сидящий напротив, спиною к стене, бомж, с такой же бурой, словно обжаренной, половиной ободранной хари. Псы беспечны и до того безразличны к перешагивающим через них прохожим, что кажется, схвати сей бомж окорочок и побеги, то вряд ли разлепят отяжелевшие веки, чтоб проводить воришку ленивым взглядом. Не мудрено, что лишь подумают сквозь дремоту: бедолага!

От впечатлений, от воя вагонов в подземелье голова идёт кругом. А на улицах столько машин, столько народу! Глядишь через дорогу, а там, в толпе, плывёт Петька Урвакин. Ё-моё, Петька Урвакин из посёлка Аметьево! Как это он тут оказался? Ты киваешь ему, он тоже здоровается, и его уносит… А вон с какой-то дамой под руку шагает Валерка с Кривого переулка, недавно отсидевший за дебош трёшку. Ба, сколько же тут знакомых! Ты издали приветствуешь Валерку с должным почтением. Ведь он своё отбыл по закону, отстрадал, как чернец в келье, очистился перед обществом! Показываешь всем видом, что ты уважаешь его самого, его домовую книгу и всю его семью.

– Освободился?! – восклицаешь одобрительно.

Лицо его вдруг каменеет…

Тебе кажется, что он не расслышал. И ты кричишь через головы людей ещё громче:

– Откинулся?!

Он наклоняется к подруге, что-то говорит ей. Наконец кричит в ответ:

– Ага!

И почему-то они смеются…

Вы идёте в разные стороны, вас увлекает толпа.

От полученного удовольствия у тебя в душе расплывается благость, ты ищешь лавку, чтобы посидеть и пережить приятное. Сядешь где-нибудь в садике, где цветёт сирень, бегают детки, закуришь дорогую сигарету, что купил по случаю. И тут, затянувшись, вспомнишь вдруг, что Валерку-то недавно взяли, и опять за дебош, что сидит он в далёкой казанской тюрьме, ждёт суда, и тут, в столице, никак сейчас находиться не может. А Петька-то… Ах, Господи, упокой его душу! Петька-то полгода уж, как помер. От цирроза печени.

Эх, Москва, Москва, город грёз!..

Октябрь – ноябрь, 2008

Грибы

Длинноногая Ляля в выходной день пошла в лес – выгулять овчарку и заодно проведать, есть ли грибы. Всё лето стояла засуха. Погибли посевы, высохли и грибницы в лесах. Натуралисты, между тем, обещали, что осенью будут опята и вешенки. Как раз в сентябре прошли обильные дожди.

И на самом деле Ляля вернулась с грибами. Принесла сухих лисичек и ещё каких-то с кучку.

– Там, в сенях!.. – блеснула очками, проходя с надменным выражением лица. Муж был старше её лет на двадцать. Прощал молодое хамство, эгоистичное разделение труда. Например, сегодня обозначавшее: я за грибами таскалась – буду отдыхать, а ты жарь, пылесось дом и мой посуду.

Покорствуя судьбе, он склонился над корзинкой.

– Это лисички, а это что?..

– Опята! – крикнула она из душа, держа в руке трусики.

– Опята? Это какие-то поганки. Мокрые…

– Сам ты поганка! Это опята! На пне росли!

Ополоснувшись, она ушла к себе, прикрыла дверь: после прогулки в лес она обычно ложилась и крепко засыпала.

Он промыл грибы в дуршлаге, очистил от веток и травы. Налил в сковороду растительного масла, поставил на горящую конфорку. Выделилось много воды, коричневая жидкость кипела. Пришлось сливать.

Часа через три проснулась Ляля. Набросив куцый халатик, прошла в кухню. Оголяя ягодицы, низко нагнулась, глянула в сковородку.

– Ты ел?

– Ел.

Она посмотрела на мужа внимательно. И ушла. Часа через два сварила картошку в мундире – мелкую картошку, – не уродилась нынче тоже, и хорошо поужинала, съела все грибы.

За оградой на опушке уже густели сумерки. Вдоль тропы низко пролетела сова, широко распахнув крылья.

Муж начал топить баню. Когда возился с насосом возле колодца, Ляля подошла и склонилась над его затылком.

– Слушай, ты как себя чувствуешь?

– Что-то мутит.

Он затягивал отвёрткой шуруп на хомуте, шея его слегка покраснела.

– Мне, кажется, плохо, – сказала она.

Он промолчал.

– А сколько ты съел?

– Чуть-чуть.

– Господи! Совсем мало, что ли?

– Ну да. Чтоб ты не ругалась. Ведь ты собирала.

Молоденькое лицо выражало растерянность, она держалась за живот.

– Я ведь говорил, что, может, это поганки. Но ты: опята! Умрём, к чёрту, оба…

– Ой, – она заплакала. – У меня голова кружится… И дышать трудно…

Он поднял голову, вгляделся в лицо жены.

– И вправду бледная. И зрачки…

– Что зрачки?! – она схватила его за рубашку. – Расширились?!

– Может, это очки увеличивают…

– Мои очки, наоборот, уменьшают! Значит!..

– Тогда, не знаю… – сказал он и, освободив рубашку, направился в сторону бани, – маленький, толстый, с упрямо торчащими ушами.

Жена – как на ниточке – дёрнулась следом, безвольная, жалкая. Она как-то вся надломилась, даже ноги от бессилия стали похожи в букву «икс». Так и плелась за ним…

– Ты когда их ел? Сколько времени назад? – И вдруг вскричала: – И вообще ты их ел?!

– Я? Нет.

– За-че-м?! – Лицо её скорчило от боли.

– Сомневался.

– Почему не сказал!..

– А чтоб неповадно было, – тут он обернулся. – Я что – подопытный кролик?

– Я на самом деле думала, – призналась она скороговоркой, – что с тобой ничего не случится, ведь ты – мужик!

– А что мужики – не люди?

– Ой, я вправду задыхаюсь! Вызови «скорую»!

Лицо её изображало оторопь, истерику.

– Позвони лучше мамочке. Устроит бучу, что я мало съел.

– Маму нельзя расстраивать! Звони в «скорую»!

– Бесполезно, процесс необратимый. Бледная поганка не выводится.

– Там не было бледной поганки! – запротестовала она в неистовстве. – Ведь мы вчера только смотрели грибы в компьютере!

– Вот именно смотрели. И там было три вида поганок. «Бледная» – это просто название. Там есть именно такого цвета, как твои, – серо-коричневые…

– Ты, правда, не ел? – спросила она тихо и доверительно.

– Нет.

– Мама! – она зарыдала. – Живот болит!..

– Бог видит всё. Мужа хотела отравить, – сказал он и пробормотал как бы про себя: – Ещё старым хрычом обзывала…

– Я не хотела отравить! А просто думала: если с тобой ничего не случится, и я поем.

– Ты же была уверена, что это опята.

– Да. Но потом, когда поела, засомневалась.

Лицо её на самом деле было бледно. Она опустилась на корточки, скользя спиной по стене, и всё держалась рукой за живот.

– Вызови «скорую»!

Он вздохнул.

– Я не хочу умирать… – плакала жена. – Я такая молодая!..

Она была трогательна. Глаза выражали страдание и сиротство. Как и тогда, тринадцать лет назад, в трудные годы, когда она тощей, близорукой, напуганной жизнью девочкой выходила за него замуж, чтоб оградить себя и маму от бед. Ему стало жаль её.

– Ладно, – сказал он, наконец, и будто снял маску: – Это опята!

– Ты врёшь!

– А трудно дышать потому, – продолжал, – что у тебя от страха обморочное состояние.

– Это признаки отравления…

– Да ел я, ел твои грибы! – воскликнул он. – Уже часов шесть прошло. И ничего. Если не веришь, пойдём посмотрим в компе.

Он обхватил жену за талию, по-прежнему тонкую, девичью, с удовольствием повёл её в комнату.

Сели рядышком. Включили компьютер, открыли нужный файл.

– Вот видишь: бледные поганки. Они все белые. А вот опята. Именно тот вид, который ты принесла. Успокоилась?..

Она потихоньку приходила в себя.

– Как страшно умирать, – призналась она.

– Конечно.

– А может, Бог хотел меня наказать? За что-нибудь старое. Ведь я хотела от тебя уйти из-за того, что у тебя нет денег.

– Конечно, мог, – согласился он. – Хотя бы сейчас. Но увидел, что ты каешься, и отвёл беду. Пусть и обманом.

– Как обманом?

– Я грибы-то не ел. – Он хотел улыбнуться…

Но тут она жёстко ущипнула его – схватила тонкими пальцами за мякоть у предплечья: врёшь! И держала молча, сдавливала сильнее, чтобы причинить боль. Глаза не отрывала от монитора. А там на кривых ножках застыли в смертельной пляске бледные поганки. Все они были совершенно отличны от тех, серо-коричневых, что она сегодня принесла. Лицо её приобретало привычное выражение – самодостаточной и надменной молодой особы.

И в который раз, как бывало после очередного розыгрыша, он жалел о происходящей метаморфозе и пытался удержать в памяти хотя бы на минутку уходящий образ доверчивой и потерянной девочки.

Сентябрь, 2010

Мальчишеское

В классе четвёртом ездил я на рыбалку. Далеко, через весь город в Ново-Татарскую слободу – на пески, что намывали с Волги. Несмотря на малый возраст, те места я знал хорошо: когда-то там жила моя бабушка по матери. Сейчас там к Волге не пройти. А тогда было много ходов – через лодочную станцию, что напротив зирата[1], через сушопилки, или мимо колонки у дамбы, куда от Бухарской мечети заворачивал трамвай.

Летом в тех местах особенно знойно. Душно пахнет сухой овчиной, взлетают из сушилки облака опилок, пышут жаром кузни «Точмаша», тарахтят трёхколёсные тележки, из окон столовой валит на тротуар борщевой жар. Адово место!

А тут, у дамбы, – чудо-колонка! Напьёшься, намочишь голову. Глядишь на кавказские горы песка.

С удочкой шагаешь по трубе земснаряда далеко-далеко вглубь залива. Садишься над бездной, под задницей чувственно шелестит по железу бегущий песок, постукивают голыши…

Ничего я в тот день не поймал.

Еду домой в полупустом деревянном трамвае. Впереди сидит старушка, в хвосте стою я и невдалеке пухлая девчонка моих лет. Дурочка. Мы всех девчонок в школе называем дурочками, а они нас – дураками. Таково отрочество.

Трамвай тянется через весь город, вползает в трущобы Островского. Очень хочется есть. У меня 10 копеек, я намерен купить в магазине на Жданова булочку с маком по 8 копеек или мороженое по 9 копеек.

На меня долго смотрит кондукторша. Смотрит минуты две. Что-то решает в уме. И, решив, наконец, рывком направляется ко мне.

– Ну всё, – говорит. – Покупай билет!

Я молчу. Ведь школьники ездят бесплатно. А я вообще считал себя маленьким. Хоть я и длинный. Но я маленький. Мама никогда не брала мне никаких билетов. И почему сейчас я должен брать? Это не входило в мои расчёты…

– Как на мороженое – у них есть, а как за проезд – так нет! – злится тётя. У ней кожаная сумка на животе, и в ней стаканов пять денег.

У меня сосёт под ложечкой, я уже не думаю о мороженом – хочу булочку. А сам краснею, и всё это видит – улыбается противная девчонка.

– Ну? – говорит кондукторша, – или выходи!

Она обернулась, глядит в окно на остановку, где меня высадит.

«Хорошо, – думаю, – выйду. До Жданова осталось всего ничего».

В это время девчонка поднимает колено, достаёт из сумки кошелёк, кожаный такой, с железными защёлками, бабушкин, наверное. Подходит улыбаясь к кассирше, улыбаясь покупает билет, улыбаясь подаёт мне, улыбаясь отходит. И встаёт в стороне, тихо улыбаясь в окно.

Пухленькая, хозяйственная такая, заколка с камушком в тёмных волосах у виска. Сумка – тоже донашивает чью-то. А в сумке, наверное, чего только нет! – и куколки, и открытки (с артистками, и с Новым годом), и алюминиевое колечко со стёртой позолотой, и баночка из-под пудры, и стёртая губная помада, и этот кошелёк. Такой кожаный кошелёк был у моей кузины, когда она играла в продавщицы: хранила в нём тугие купюры – листья сирени, продавала куличи из мокрого песка, траву на игрушечных весах взвешивала.

Наконец остановка Жданова. Я отодвинул деревянные двери и спрыгнул наземь. Вагоны потянулись. Не поднимая глаз, я видел и куртку, и тёмную прядь девочки…

[1] Зират – кладбище *(тат.)*

Конечно, я был благодарен ей. Да что там! Всё то время, начиная с момента, как она подала мне билет, у меня под рёбрами сквозило и дрожало, будто там трясся холодец. И стыдно мне было. Но я же мальчишка! А получил подачку от девчонки. Если узнают об этом пацаны? Нет, я не смел сказать ей спасибо.

Она это понимает. После такого стресса мне уже не хотелось есть.

Сентябрь, 2015

Первомайское

Кто скажет, что в молодости не попадал в милицию, кто не слышал протокольное «Пройдёмте»?

Я, будучи ещё ребёнком, угодил в отдел.

Это было Первого мая. О, какой это был праздник!

Сестра готовилась к нему заранее – на уроках труда делала из папиросной бумаги цветы, привязывала проволочкой к веткам берёзы, которые заранее проращивала на подоконнике в бутылках с водой – до клейких листочков.

Родители на мехкомбинате наряжали тележки для баннеров, автопогрузчики и грузовики. В столовой дудели в медные трубы слесаря и пикилевщики, ухал барабан.

Утром выступали. Впереди колонны на фоне портрета Ленина шёл Рабинович, генеральный директор, очень толстый, похожий на ромб, только на голове фетровая шляпа. Несмотря на ужасающую полноту, шагал легко и вольно, кивал машущим с тротуаров.

На улице Татарстан в колонну вливались портовики, швеи с Тукаевской, – все шли к площади Свободы, где мощно гремел оркестр и диктор по радио поминутно кричал «Ура, товарищи!». Милицейские чины, в сияющих парадных мундирах, останавливали колонны с востока и юга, чтоб хлынуло на Площадь человечество из Заречья.

Демонстранты от улицы Пушкина до Тукаевской, ощетинившись знамёнами, ждали. Располагали на карах закуску и питьё, пели, плясали, и в то время, когда головная колонна трогалась, быстро и чётко, как римская когорта, – задние, находясь в неведенье, рассыпанные, плящущие, ищущие во дворах туалеты, спохватывались и начинали бежать, гнали транспаранты, срывали с уезжающих кар свои гармони, чак-чаки, шляпы и водку.

Как раз в тот момент, когда плясали в широком кругу, я и потерялся. Огляделся – родителей нет; а тут и толпа побежала…

Как горько я рыдал!

Ко мне подходили люди, спрашивали, как фамилия отца, с какого он предприятия. Какой-то парень увёл меня в милицию. Там я рыдал отчаянней. Начальник, сидевший за столом, успокаивал, иногда вызывал из другой комнаты девочку, ковырявшую пальцем в носу, и говорил: «Смотри, какая маленькая – и не плачет».

– Ага! – кричал я, – это ваша дочка!

Через час меня посадили в кабину крытого милицейского грузовика и повезли. Хорошо, что я знал свой адрес. Не играть со спичками, не разжигать керогаз, уходя, выключать свет, – всё это, а также домашний адрес мне вдалбивали с младенчества.

В машине я уже не плакал. Я простил милиционерам, родителям, всему миру, что меня потеряли, только всхлипывал. А затем постепенно начал осознавать, как здорово ехать в машине на мягком сиденье.

Грузовик зашёл в посёлок Калуга от Жданова. Через лютую грязь в устье Подгорной. Поднялся по булыжнику на гору и возле колонки упёрся в овраг. Я видел, что они едут не туда, но смолчал. Эти дороги я знал со времён горшка, в шесть утра на руках, а потом за руку меня доставляли теми улицами к трамваю, чтоб отвезти к бабушке – в Новотатарскую слободу.

Не сказал я заблудившимся милиционерам и то, что моя улица как раз на той стороне оврага, меня можно было просто отвести за руку.

Грузовик развернулся и влез в непролазную грязь на Центральной. Решили вернуться на Жданова, а оттуда через Вишневского – на Калугу. Они и там заехали не туда – на Заслонова, улица тоже упёрлась в овраг. Милиционеры расспрашивали прохожих. Пенсионер начал обстоятельно перечислять: «Пугачёва, Старая Пугачёвская, Новая Пугачёвская…», а потом, как Бисмарк, пальцем указал на восток.

В отличие от равнодушных горожан, местные с любопытством заглядывали в окна кабины, – милиция сюда приезжает лишь в особых случаях, ловить бандитов.

А тут в кабине между двух милиционеров сижу я!

Что обо мне подумают?

Слёзы мои просохли, и я решил улыбаться.

Будто шофёр – мой дядя.

Ведь у нас, если к кому приезжала машина, тот на улице считался героем. Сообщал завистникам, что его отец завтра привезёт дрова, и ты, Валерка или Витька, к машине нашей не подходи! Соседская девочка хвастала, что у них дядя Вася повесился, и завтра к ним приедет скорая помощь, милиция и пожарная машина!

Когда милиционеры уверились, что я узнал свой дом, сличили по номеру на воротах, меня высадили.

Ново-Пугачёвская пустовала. Вероятно, все были ещё на демонстрации.

Зашёл во двор, дёрнул в сенях дверь – заперта, сунул руку в тумбочку – ключ. Родители меня ещё искали.

Как жаль! Плакать я уже выплакался. Но слёзы я бы нашёл и выудил бы таки шоколадку. А если хорошо поорать, показывая рыданьями, что натерпелся мук, там и на машинку можно рассчитывать.

Я лёг на диван и сразу, и впрямь натерпевшийся, крепко уснул. Не помню, сколько тогда мне было лет, в школу я ещё не ходил.

Сентябрь, 2015

На Волге

Купальщицы

ОМ шёл вдоль грузового берега. Жёлтые портовые краны, расставив ноги, как жирафы, то и дело наклонялись к реке, словно пили воду.

Пройдя мимо элеватора, теплоход повернул к середине реки.

На волнах качался утлый катер с автопокрышками по борту. Полуголый матрос, рыжий, с изжаренной плешью, занимался на корме стиркой – яростно скалясь на солнце, кривил колесом ноги и выкручивал бельё прямо себе под босые ступни.

В серебристо-бегучем просторе стояла на якоре самоходка, перегруженная брёвнами.

Бок о бок – две стальные баржи с торчащими вверх буферами. Одна вытягивала со дна реки песок и поливала им из трубы соседнюю палубу – мутные воды с обоих её бортов стекали в реку.

Неожиданно за кормой появился двухпалубный теплоход. Старый, с угловатой надстройкой, похожей на веранду с деревянными окнами, – шёл на предельной скорости, удивительно заваливаясь на бок, будто получил пробоину. Ухая, грохоча и лязгая, не боясь опасной близости, сравнялся, показал якорь, торчащий из пуповины, синие буквы: «Бул…га…рия» и, наконец, – куцую, как полукружье измазанного белилами таза, корму, выбрасывающую ошмётки изрубленной воды…

Пассажиры на верхних палубах победителя, большей частью женщины, с чувством превосходства поглядывали на отстающий ОМ, очевидно, довольные своим лихим капитаном.

Артур наслаждался волжским ветром, таким родным! Он недавно приехал в отпуск. С радостью узнал берег и дебаркадер Ташёвки, куда начал причаливать ОМ. С детства Артуру казалось, что слово «ташый» – «кипит, бурлит», придумали именно здесь – ведь когда ОМ притирается к причалу и даёт задний ход, утробно газуя и напрягаясь так, что его трясёт, – в зелёной глубине закручиваются белые спирали и разлетаются наверху раскидистыми кружевами. И мальчик тогда думал: «ташый».

Вот и теперь вода под теплоходом бурлила. Тросы и верёвки, улетавшие от пристани к далёким обрывам, от качки то вскидывались, то плюхались в воду; лодки, привязанные нос к носу, часто-часто клевали, будто куры на детской игрушке.

Дальше теплоход пошёл ровным ходом, мерно разматывал под текстильный шум движка берега. Между деревьями и внизу, на камнях, мелькали растянутые палатки. По срезу известняка чернели пещеры, будто кто-то вдавливал в пенопласт горящие окурки.

У воды глазели на теплоход купальщики, бледные, незагорелые – новички-туристы, – щурились из-под приставленных ко лбу ладоней. Загорелые же, как арабы, старожилы деловито ходили по берегу, начхав на судно.

Весь путь до Гребеней составлял два часа. Солнце знойного 2010 года нещадно палило, и приходилось время от времени переходить на другую сторону палубы в тень, где хоть немного овевало прохладой.

Наконец показались известковые гребни. На их макушках когда-то торчали деревца, как казачьи хохлы; выпирали над рекой каменистые скулы… Головы эти снесло временем, теперь торчали над водой косые срезы, будто остовы бунтарских вый.

Вот залив. Сквозь листву виден дворец управляющего маркиза Паулуччи; мелькнул изволок, где была пионерская баня и родник; торчат из воды трубы, – вероятно, причал для катера… А дебаркадера нет! Артур подумал: «как же он высадится?».

Между тем теплоход сбросил скорость и повернул к берегу. С разворота ткнулся носом в гальку. Женщина-матрос и пожилой мужчина, в новых синих спецовках, начали вращать лебёдку – и от палубы отделился трап с приваренными стальными поручнями, завис в воздухе и пошёл-пошёл, снижаясь, к земле, упёрся концом в грунт…

Артур высадился. Прямо под обрывом мужик в дырявом трико жёг костёр и, жутко чадя, смолил перевёрнутую лодку. Наверх вела прочная стальная лестница. Артур поднялся – и сразу узнал просторный луг и длинный бревенчатый сарай вдоль обрыва, сильно осевший. Тот ещё сарай, сложенный в духе купеческих амбаров, ему было, наверное, более ста лет. И казалось, за его низенькими дверьми с коваными накладными навесами до сих пор хранятся сбруи, бочки с дёгтем и бурлацкие верви, повисшие от стены к стене в тяжкой дрёме.

Дорога упиралась в ограду лагеря. Когда-то здесь был забор деревянный. Сваренная из высоких пик, новая ограда свисала над обрывом, закрывала выход к берегу. Артур приметил тропинку, спустился, повис на решётке, перебирался внутрь. Но и там наткнулся на решётку, теперь она шла вдоль берега. Нашёл промоину, заложенную досками, вытянул их и со злобой побросал как можно дальше в кусты. Пролез низом, прошёл рощицу.

И вот они, пионерские палаты – три голубых двухэтажных дома! За ними – широкое футбольное поле, клуб и камера хранения.

От старого сруба за футбольными воротами, где жил когда-то 5-й отряд, выскочила сварливая собачонка. На лай вышел из сруба мужик с помятым лицом. О чём-то спрашивал.

Собака мешала изъясниться.

– Я в детстве тут отдыхал! – крикнул Артур.

– А-а… – понятливо протянул мужик и зашагал прочь, шевеля широкими штанинами с сильно мятым задом.

– Погоди, земляк! А кто купил этот лагерь?

Не оборачиваясь, мужик махнул рукой:

– Козёл какой-то. Не знаю. Мы охраняем.

В роще у клуба дети играли в почту. Тогда Артур хотел жениться на Кате, малышке в крошечных сандалиях с продавленными дырочками и с бантиками на макушке. Девочка была ещё октябрёнком, очень уютная – и хорошо вела бы семью. Он писал ей: «Я Вас люблю», но «почтальон» не приносил ответа. А сама девочка смотрела на лопоухого обожателя, дико вытаращив глаза, будто он зарезал свою бабушку, и старалась спрятаться среди подруг.

Пёс верно отрабатывал свой хлеб, лаял и не позволял перейти футбольное поле. Тогда Артур вернулся к лазу, к лестнице у обрыва. Прежде здесь петляла дорожка, протоптанная пионерами-нарушителями, стояло огромное дерево, под корневищем которого дети прятали в мыльнице сигареты «Салям».

Спустился к воде. На пирсе, выходящем далеко к фарватеру, купались две девочки лет пятнадцати. Ныряли с помоста, выбросив вперёд руки, – умело, как парни. И, выпроставшись из глубин, подплывали к помосту, спокойно разговаривали, ни крика, ни визга.

Волны набегали к ногам и уходили в щебень, как в губку.

В сумке лежали чай и большая металлическая кружка с привязанной проволокой в виде дужки – держать на палочке над костром. Сидя на корточках, Артур начал собирать вокруг себя ветки. Расстояние от воды до обрыва – метра два, дровами не разжиться.

Девушка в зелёном купальнике крикнула ему с помоста:

– А вон смотрите, какая палка! Прямо над вами…

Пробежала по доскам, прыгнула на гальку, вскарабкалась по-обезьяньи наверх и стащила сук – длинный, корявый.

– О, спасибо! Тут ужин сготовить хватит! – сказал Артур и стал поджигать сухую листву. – А вы – местные?

– Не-е. Мы приехали.

Темноволосая, загорелая, она смотрела несколько лукаво, но доверительно. Глаза – густо-зелёные, на переносице – каникулярные веснушки. Подруга была светловолосой, бледнокожей (вероятно, не приставал загар), в ярко-жёлтом, тоже сплошном, купальнике и с неопределённым лицом, как сырой блин, о котором ещё не знаешь, что получится.

– На дачу? – спросил он.

– Бабушкин дом.

– А что же тут всё огородили? Еле пролез.

– Это ещё что! – сказала светленькая. – Раньше от забора до самой воды висел моток колючей проволоки!

– Мы вон с той стороны лагеря пролезали, – поддержала её подруга и протянула жалобно: – Нас прогоняли.

– Да, время… – сказал гость, подкладывая ветки в костёр. – Нашему поколению повезло… Но вы должны знать, что на этот берег никто не имеет никакого права. Юридически. По закону. Берега рек, судоходных, транспортных, особенно таких, как Волга, – это стратегическая территория. Это ваш берег.

Заварка в кружке поднялась, сквозь неё вздулась пена. Подержав ещё немного кружку над пламенем, он поставил её на гальку, вынул из сумки чашку и налил немного чаю. Устроившись поудобней, начал отхлёбывать. Наблюдал за купальщицами, которые опять ушли на край помоста.

Обе ныряли с траекторией дельфина. Без брызг, с прямыми ногами. Ступни исчезали в воде, захлопывая гладь и унося в глубину крутящийся шлейф пузырей. Всплывали, мотнув головой, и гребли к помосту. Вылезали, словно литые, с острыми коленками и лоснящимися бёдрами. Сдавливали ладонями влагу с купальников – сверху вниз, вода сбегала по ногам. Зеленоглазая с некоторым женским изяществом поправляла у виска подкрашенные каштановые завитушки и всё поглядывала на гостя, будто ожидала ободрения.

– А какая там глубина? – спросил он.

– Три метра, – сказала она и посторонилась.

Он уже шёл с жердью замерять. Сунул конец в воду, но его повело течением. Наконец жердь упёрлась в дно, и… тут боковым зрением Артур увидел огромного пса! Пёс стоял на берегу. Окрас и стать мощной восточноевропейской овчарки, великолепная стать! Вот только уши подвели – изломанные концы висели.

Оглашая побережье басом, пес пошёл на помост. Артур невольно опустил жердь, преграждая дорогу.

Пёс шагнул и в мгновение ока перегрыз конец палки. Затем ещё и ещё – и, роняя куски, продвигался к мужчине.

– Он меня съест! – воскликнул Артур.

– Да нет! Он добряшка, – в голос крикнули девочки. – Полкан, нельзя!

– Его зовут Полкан? Здорово! Как в сказке! Ай, хороший Полкан! Вот, на, догрызай.

Пёс одним прикусом разделил пополам остатки брошенной перед ним жерди и прошёл к краю помоста, а потом обратно. Не обращая внимания на незнакомца.

– А чей он? Ваш?

– Ничейный, общий, – сказали девочки.

Артур решил искупаться. Разделся прямо на пирсе; спросил:

– А вы сальто умеете?

– Не-е…

– Сейчас попробую. Сто лет не нырял. Тут хорошо, упор надёжный. А то как-то с лодки попробовал, она лёгкая, дюралевая. Я оттолкнулся, а корма ушла, как тазик отлетела. Я плюхнулся на спину. Так отбил, что кожа покраснела. Как калошей настучали.

– Осторожней! – предупредили его. – Здесь, под водой, – колючая проволока!

– Что? – опешил он и выпрямился…

– Да нет, не бойтесь, здесь катер чалит. Проволока вон там, по бокам, туда не заплывайте.

– Да? Ну ладно-с. Итак!..

Он собрался с духом, присел и сделал прыжок вверх, кувыркнулся в воздухе и плюхнулся. Правда, с согнутыми в коленях ногами, неудачно.

И боже! Что он ощутил под водой! Он забыл, что в носу перебита перепонка и «солдатиком» погружаться нельзя. Струя под напором ударила в носоглотку, в глаз, в мозги! Взмахивая, как гусь крылами, он поторопился наверх, на воздух. И, выбросив наконец голову с вытаращенными глазами, уже не мог сдержаться от нестерпимого кашля и чиха…

– Пере… пчхи!.. понка! Чхи-хи-хи-хи!

В следующие разы кувыркался, взмахивая лишь одной рукой, а другой сжимал ноздри.

Снова заварил чай, благо взял конфеты и пачку заварки. Девушки согласились чаёвничать. Насластив рты слипшимися от жары шоколадными конфетами, с удовольствием пили его крепкий и горький чай. С нетерпением ожидали своей очереди; чашка шла по кругу. Чай заметно всех взбодрил. Начали шутить, смеяться.

– А вы отдыхали когда-нибудь в пионерском лагере? – между прочим спросил гость. – В детском лагере? – поправился, понимая, что пионерию девочки уже не застали.

– Нет.

– Жаль! Это так здорово! Не объяснить. Я почему сюда приезжаю? Потому что это было лучшее время в моей жизни. Счастье! Мы были маленькими, но очень серьёзными патриотами. Обожали Фиделя Кастро и Че Гевару. Маршировали и пели с чувством:

Под чёрной кожей
У негра сердце тоже!
Оно ведь может
Смеяться и грустить.

– Вот так, смотрите!

Артур, вдруг развеселевший, опьяневший после купания от чая, ступил на тёплый помост и, сделав лицо строгим, стал маршировать и петь:

– Па-ад чёрной кожей…

Девушки смеялись, подошли ближе. А зеленоглазая вдруг стала рядом и, через плечо задорно глядя ему в глаза, тоже начала маршировать, «руля» руками, будто вела корабль. А потом, застеснявшись, спрыгнула с помоста в воду. И Полкан, такой революционный Полкан, казалось, был готов отдать жизнь за Остров Свободы – громко лаял и толкался.

Артур от счастья забылся, ему казалось, что нет разницы между ними в двадцать лет, и они все трое – ровесники, друзья, и это так здорово! Эх!..

Бескозырка белая,
В полоску воротник,
Пионеры смелые
Спросили напрямик:
«С какого, парень, года?
С какого парохода?..»

– Слушайте, а во сколько пароход? – опомнился он вдруг. – В четыре? Это ведь последний?

– Ракета будет в восемь из Шеланги, – успокоили его.

– А до Шеланги сколько идти? Пять километров? – спросил он.

Девушки промолчали.

– А, может, чёрт с ним! Плевать на всё, остаться с ночёвкой? Заплатить за постель…

Он задумался.

Девушка в зелёном купальнике выжидательно смотрела ему в лицо…

Итак. Время подходило к четырём. Артур обычно ложился в два-три ночи. Что он будет делать всё это время? Еду он, конечно, купит…

– А клуб тут построили? – спросил он. – Интересно, как сейчас танцуют?

– Какой клуб! – застонали девушки. – Нет тут никого, мы только вдвоём на всю деревню. С ума сойти!

Он вспомнил длинные одинокие пионерские вечера на обрыве, над простором Волги, и его до живота проняла тоска.

С другой стороны, девочки не бросят его одного…

– Нет, – сказал он, – надо ехать. А сколько сейчас времени?

– Да мачту отсюда будет видно! – убеждали его.

– А вон и мачта! – воскликнул он.

Сквозь береговые заросли над завалом показался крестик антенн возвращавшегося из Шеланги ОМа.

– Ёлы-палы, я не успею! Прощайте, девочки! – он быстро оделся, схватил сумку и стал карабкаться наверх, добрался до решётки.

– Вы кружку забыли! – крикнули ему.

Не оборачиваясь, он махнул рукой. А потом, подумав, что жест неприличен, крикнул:

– Она закопчённая, сумку испачкает!

Он поспел как раз, даже с запасом времени. Впереди него боязливо поднималась по трапу женщина одних с ним лет, в голубом платье-костюме, полноватая и неуклюжая, так что ему пришлось даже дожидаться.

ОМ отошёл от берега. Когда давал задний ход, Артур находился на правой стороне – чтобы видеть обрыв под лагерем, а когда теплоход повернул, он оказался лицом к дальнему берегу. ОМ пошёл быстро. Спохватившись, Артур кинулся через арку к противоположной стороне палубы. Спотыкаясь о трап и канаты, подбежал к борту, опёрся о перила.

Низкое солнце нестерпимо слепило…

Наконец различил берег, торчащие из воды трубы, пирс.

Девочки – зелёный и жёлтый купальники – стояли на самом краю помоста, глядели на идущий теплоход… и вдруг разом энергично замахали руками! Рядом стоял чудесный Полкан!

В сердце ёкнуло, в уголках глаз набухли тёплые слёзы…

Он отвечал им, покуда мог видеть силуэты. По мере удаления девочки, словно на плоту, уходили в низину – вниз по течению; сверху на них от утёса падала тень.

«А зря ты уехал. Зря! – с горечью думал он. – Ты всегда был дурак! Ты привык во всём видеть плохое. Чистоплюй! Теперь ты состаришься и умрёшь. И у тебя никогда такой чистой и доброй встречи уже не будет!»

Из головы не выходил образ зеленоглазой. Как она мастерски, будто спортсменка, улетала с помоста в воду, как добродушно маршировала, улыбаясь ему через плечо, и как пила чай, морща от горечи веснушчатый нос, возбуждённая и весёлая оттого, что она ему нравится…

И вдруг ему показалось, что вся жизнь его прожита глупо. Это только чудилось, что она значима, а поступки исполнены порядочности. На самом деле всё – чванство плебея. И добрые дела, и самоотверженность – всё напоказ.

– Идиот! – сказал вслух – и увидел, что волны над ним смеются.

Подростковые обиды

ОМ шёл до Ташёвки. Этот участок на обратном пути – полоса осклизлого каменистого берега под обрывом навлекала неприятные чувства…

Здесь, по обвалам, Артур когда-то прошёл пешком.

После шестого класса он с товарищем приехал в Гребени. Оказалось, что в лагере – в третьем отряде отдыхает пацан из их школы, из соседнего 6 «Б», Вовка Филиппов. Те ребята, с которыми Артур отдыхал во вторую смену и подружился, разъехались. Теперь тут жила третья, августовская смена.

Сидя на берегу, Филипп угощался сигаретой «Дымок», плевался с обрыва и жаловался на соотрядников, что они, козлы, его щемят и дразнят засыхой.

Артур счёл долгом разобраться, вместе с Филиппом пошёл к палате. На крыльцо бойко высыпали пацаны. Началась перебранка, третий отряд окружил его, выделил своего лидера и потребовал боя один на один. Лидер был ниже Артура, но казался старше, шире в плечах, из коротких рукавов футболки у него выступали бицепсы.

Филипп никогда не был Артуру близок, учился во враждебном «Б», но Артур считал, что должен за земляка биться.

Поединок состоялся в посадке в окружении отряда. Артур вошёл в тот возраст, когда драка представляет собой уже не борьбу, когда победитель тот, кто больше другого до слёз наваляет. А уже – кулачный бой.

И жёсткие плюхи в лицо, пинки полетели с обеих сторон. Бой длился долго. Соперники от усталости сходились на ближний, в объятиях били друг друга головой в лицо, испытывали губами вкус чужого пота на остриженных вихрах. Отталкивались и вновь начинали махаться. Они еле дышали…

И тут стало происходить непотребное. Артур получил удар яблоком в затылок. Затем его сзади кто-то пнул, стали подбегать и откровенно бить кулаком в спину, в шею. Это отвлекало, мешало драться, подавляло морально, он начал отступать – иногда с резким движением назад, чтобы помешать нанести удар подбежавшему. Отряд перемещался по посадке вместе с дерущимися; дальше была дорога в столовую. Артур получил огрызком в глаз.

– Всё! – крикнул он, вытер яблочную мокроту и, задыхаясь, выбросил обе руки вперёд – давал понять, что поединок окончен и он проиграл.

В это время кто-то подбежал к его товарищу, подставил ногу для подсечки и сцепленными руками гребанул в сторону. Товарищ, его звали Женька, чуть не перевернулся через голову, упал в пыль. Поднялся и молча, с ненавистью поглядывая на обидчика, начал отряхиваться…

В лагере протрубили обед и тихий час.

У пристани Артур умыл пылающее лицо. Женька ещё раз тщательно осмотрел его: синяки не намечались, вспухло только ухо – кто-то сбоку кулаком сломал хрящ.

Следующий ОМ должен был прийти через четыре часа. И они решили идти берегом до Ташёвки, куда ОМы заходят чаще.

Шли по осклизлым камням, преодолевая завалы и коряги, наломали ноги. Рассчитывали покрыть этот путь за час-полтора, но добрались до пристани только через три.

Филипп оказался сучонком.

В восьмом классе, когда собирали металлолом, произошла перебранка с этими «бэшниками». Вопрос решили закрыть поединком. От «А» должен был идти Артур, от «Б» – Генка.

Дело было зимой, скинули пальто, на руках – бодрящие кожаные перчатки!

Договорились лежачего не трогать.

Когда Артур зарядил Генке в скулу, тот поскользнулся и упал, и Артур к нему не подошёл, дал встать.

Но когда затанцевал на льду и шлёпнулся Артур, Генка навалился на него.

На крики возмущения со стороны «ашников» «бэшники» загнусавили:

– А чё – он же его не пинает!

И тут послышался голос Филиппа:

– Гена, суй пальцы ему в рот и рви в обе стороны! Так он не вырвется!

Но Артур вырвался, перевернувшись на живот. Поединок не дал завершить директор школы, увидевший драку в окно, – вышел и увёл обоих в кабинет, а потом запер на час в разных классах.

Тогда Артур не обратил внимания на крик Филиппа, привык, что все «бэшники» это стадо – «бе-э-э». И вот сейчас нахлынуло…

Наверное, самое незабываемое – подростковые обиды.

Неожиданная встреча

Артур перешёл на другую сторону палубы, закурил и стал смотреть в водную даль.

Возле него на лавке сидела женщина – та, что неумело карабкалась по трапу в Гребенях.

На вид она была его ровесницей. Полная, голова, как у многих женщин её возраста, когда волос редеет и пробивается серый цвет, – острижена под горшок и покрашена небрежно, в грязно-рыжий бедлам, лишь бы скрыть седину.

– Простите, – сказал Артур, – вы ведь в Гребенях сели. Вы местная? То есть родом из Гребеней?

– Да. А что?

– Я в лагере был… А что – спиртзавод не работает?

– Гм, уж сто лет!

– А кто купил лагерь, не знаете?

– О-о! Тут бардаку было! – Женщину задело, видать, за живое. – Сначала купил этот… как его? Помощник мэра… Ну, он-то ладно, купить купил, как в сундук положил – не слышно, не видно. А потом он участок продал. Новый хозяин тут такое начал выкамаривать! Огородил берега, в клубе начал кроликов держать. А главное, закрыл вход в лагерь – на изволок, где родник. Местные там испокон веков питьевую воду брали. Мы начали писать жалобы, куда только не обращались! Бесполезно! Вот только когда добрались до Шаймиева, меры приняли. Долго рассказывать… В общем, всё равно не то. Его заставили скважину для нас пробурить, поставить колонку, но там вода не та. Мутная, невкусная.

– А вы не помните… У директора спиртзавода дочка была, лет пяти?

– Дык-с, – сказала женщина, – я и нянькой у ей и была!

– Как нянькой? Сколько же вам лет было?

– Девять.

– Вы серьёзно?

– А как же – шутя? И огород поливала, и полола, и за ей смотрела. С четырёх её лет.

– Надо же! – удивился Артур. – Мне иногда кажется, что этого вообще никогда не было. Столько времени прошло! И вот: сидите вы, которая не только её знала, но и нянчила…

Женщина искоса посмотрела на мужчину несколько странно.

– А мне ведь тоже тогда лет девять было, – продолжал Артур, – мы в «Зарницу» играли на горах. И вдруг видим: пожар! Изба горит. Побежали вниз всем лагерем. В деревне переполох, гарью пахнет, пожар уже потушили. Кто-то плачет. Говорят: девочка погибла… Через два дня у нас был родительский день, её как раз хоронили, несут мимо нас, в Шелангу. Я подбежал к гробу, смотрю – оказывается, я её прежде знал! У меня дух захватило, гляжу – пятнышко на

щеке, с пятачок. А под платочком – неестественные волосы. То ли пакля, то ли лён. Вы знаете, об этом был рассказ в центральной газете…

Тут он спохватился. А женщина засобиралась, сунула ридикюль в большую сумку и, поднявшись, двинулась в сторону арки, под которой находились двери в трюмы.

Да, был рассказ. В газете «Республика Татарстан». Там говорилось, что девочки жарили грибы и опрокинули на пол горящий керогаз; старшая убежала, а младшая, испугавшись ответственности перед родителями, начала тушить пламя. И погибла. Текст Артур хорошо помнил, он сам его писал. И эта женщина не могла не видеть этот рассказ, потому что газета была единственная на всю республику, её выписывали чуть ли не в каждом доме. И даже если бы не видела, ей бы гребенёвские принесли – уж в деревне-то о себе ничего не пропустят.

Наверное, она ещё в детстве натерпелась укоров, если не от взрослых, то от сверстников точно. Но в чём её вина? В том, что сама, будучи девяти лет от роду, испугалась? И знала ли она, что будут такие последствия?

«Удивительно, – думал Артур, глядя за борт, – люди живут рядом с теми, кого знали в детстве, с кем учились, с кем дружили, стареют – но потом не могут узнать друг друга! Бывает, даже тех, кого любили…»

Волны в тени теплохода открывались и схлопывались, будто книжки, и отплывали в сторону.

Мася и Камилла

Приезжая к тёще, Артур спускался с сигаретой к подъезду. И почти каждый раз, когда выходил, у двери курил черноволосый худощавый мужчина – стоял, облокотившись о заборчик, и с какой-то тихой, внутренней улыбкой смотрел на цветы в палисаде. Иногда ни с того ни с сего заговаривал с соседом, хотя не знал его – Артур был здесь всего лишь зятем.

Артур брал с собой на улицу пожилого пёсика. Лохматый и чёрный, Мася выходил из подъезда с зажатой в зубах сосиской, серьёзный и важный, как Черчилль с трубкой. Бросал сосиску перед собой и ложился охранять. На людях это было интересней – на домашних рычать ему наскучило.

К Масе гурьбой подбегали дети. С ними была старшая девочка лет десяти. В белом платьице, с тёмными распущенными волосами. Она садилась напротив него на корточки и, подперев кулачками щёки, любовалась им.

– Ах, Мася! Какой же ты красивый! – говорила она.

На комплимент своей ровесницы пожилой Мася чуть шевелил хвостом, но сосиску отдавать не собирался – верхняя губа его слегка оголялась, показывались мелкие зубы. Мася не был жадным парнем, но этому приучила его будущая жена Артура, будучи ещё подростком. Дразнила кутёнка рукой, будто хочет отнять еду, и тот забавлял щенячьей жадностью.

Вот и теперь мужчины курили. Мася, разлёгшись перед ними, охранял сосиску. Девочка сидела напротив – раздвинув колени и натянув на них подол платьица, подпёрла щёки и молча любовалась. В чёрных волосах её, расчёсанных на прямой пробор, зеленела камнями брошь.

Из подъезда высунулась пожилая женщина, повертела вокруг головой и обратилась к девочке:

– Идём кушать, Камиля! – Она произнесла имя на татарский манер.

Красивое лицо девочки исказили ямочки на лбу, брови нахмурились.

– Бабушка, – ответила она, – сколько можно говорить, что меня зовут Камилла!

И добавила, обратясь к мужчине, что курил рядом с Артуром:

– Да ведь, пап?

Тот посмотрел на неё со своей мягкой внутренней улыбкой.

– Конечно, доченька! Я назвал тебя – Камилла, – произнёс он.

Девочки-соседки, которыми верховодила старшая Камилла (по желанию девочки будем звать её так), часто звонили в дверь тёщи, страдавшей артрозом, и просили поводок – выгулять Масю.

Покупали вскладчину сосиску, клали перед ним и наслаждались его комической жадностью.

Больше всех пёс признавал Камиллу, он знал, где она обитает – на нижнем, пахнущем улицей этаже, за чёрной, обитой дерматином дверью. И каждый раз, выходя на прогулку, тянул поводок к этой двери, задерживался, тщательно обнюхивал обшивку, полоску порога.

Однажды случилось несчастье – Мася пропал. И, казалось, навсегда.

Сколько сил было потрачено на поиски! Сколько выплакано слёз!

Убежал он во время сильной грозы – из офиса на первом этаже, незаметно увязавшись за женщинами, вышедшими покурить во внутренний двор.

Никто ничего не успел сообразить. Небо нахмурилось, треснуло и загрохотало. Перепуганный Мася, который и прежде во время грозы прятался под кровать, опрометью кинулся вслед за каким-то мужчиной, приняв его, вероятно, за уходящего Артура.

Артуру сообщили, он бросился к выходу – во дворе стояла водяная завеса. Выбежал на улицу – заливало глаза. Куда бежать? Большая Красная идёт под уклон, выскочившей собаке легче повернуть под горку, влево, и Артур побежал вниз. В беснующейся мути непрестанно сигналили ползущие машины, фары светили, будто из речных глубин. Лишь бы пёс не влез под колёса! Артур пробежал километр, осмотрел смежные улицы – нет! Значит, пёс со двора повернул вправо. Артур побежал вверх по Горького, облазил все переулки, огороженные стройки, закутки у мединститута, вышел к старой заставе, к разрушенной тюрьме, где сидел Пугачёв, к обрыву над Казанкой…

Когда стих ливень, обессилевший, столкнулся в садике с промокшей насквозь женой, которая еле дышала.

Они ничего друг другу не сказали. Нет у них больше собаки! Попала под колёса! Лежит где-то в мусорном баке!

Всей семьёй выезжали на поиски по несколько раз в сутки, расходились, лазили по свалкам, кричали в ночи имя. Однажды в дождливую темень мелькнула чёрная собачонка, лохматая, курчавая, такая же помесь с пуделем. Отираясь о стену, жалостливо глядела – хотела, чтобы её взяли. Очень этого хотели и собаки в приёмнике, куда во время поисков приезжали, – несчастные, втиснутые, как в крольчатники, в тесные ящики с сеткой, смотрели жалобно, особенно – согнувшаяся в три погибели немецкая овчарка с умными обещающими глазами…

Через четыре дня пришло время уезжать. Тёща от горя заболела. Выходила на балкон и рыдала. Между тем твердила, что будет искать до последнего. На поиски с нею увязывалась Камилла…

И однажды в квартире тёщи загремел стационарный телефон.

– Вы давали по телевидению объявление о пропаже собаки? Чёрная, небольшая?.. Она у нас! Приезжайте в мединститут. Толстого, дом 4, спросите завотделением Ириду Лазаревну.

Услышав в коридоре голос своей хозяйки, Мася кинулся к ней из комнаты со звонким лаем. И был неутешен. Хотя все дни лежал пластом, ничего не ел и был в критическом состоянии. Он на самом деле попал под машину – на брюшке отпечатались следы протектора, но, к счастью, его не переехали, а только поддавили – вероятно, в последний миг кто-то ужасно закричал – то ли прохожий, то ли сам Мася. И благо автомобили в метровой видимости двигались из боязни аварий медленнее пешеходов – и водитель, услышав крик, вовремя надавил на тормоза. Мася со сломанной задней лапой и помятыми внутренностями утром был найден лежачим во дворе мединститута. Завотделом делала ему инъекции, поправляла почки и печень, студенты приносили еду…

Потом несколько месяцев лечила тёща. Возила к ветеринарам в овощной тележке – в тазу.

Это был 2010 год, тихий и жаркий. Тогда Волга ещё не принесла свои страшные воды, те бурные, штормовые воды 2011 года.

Зимой Артур узнает, что тот добрый сосед, куривший с ним у подъезда, умрёт от рака, сгорит за месяц. А летом 2011-го уйдёт та женщина, которая звала Камиллу кушать.

Бабушка не перенесёт горя после того, как Камилла, эта резвая, развитая девочка, занимавшаяся гимнастикой и спортивным плаванием, беспомощно утонет вместе с другими пятьюдесятью детьми, запертыми в трюме теплохода «Булгария» – того самого кособокого двухпалубного, что лихо «омик» Артура обогнал.

Это ужасно. Но это ещё не случилось.

Артур возвращается в Казань и смотрит на тихие волны. Там, в Казани, во дворе на Короленко, бегает с Масей на поводке девочка в белом платье.

Папа и подруги зовут её Камилла. Но в метриках её сельская мама десять лет назад написала – Камиля.

Артур не один раз перечитывал в Интернете имена трёх погибших девочек, написанных по метрикам в разных транскрипциях: десяти лет – Камила, четырнадцати лет – Камилла, и неполных одиннадцати – Камиля с улицы Короленко, – имена запертых вместе с другими в каюте детей, застывших под водой у неприступных окон с открытыми глазами и распахнутыми пятернями.

…Старенький искалеченный Мася, который волочит заднюю лапу, ему уже четырнадцать, и он тоже, наверное, скоро умрёт, всё подходит во время прогулок к знакомой, обитой чёрным дерматином двери на первом этаже. Обнюхивает, вскидывает мордочку, будто что-то вспоминает. Нюхает ещё. Затем неподвижно стоит, свесив голову. Трогается лишь тогда, когда дёрнут за поводок.

20 сентября, 2012 – ноябрь, 2014

Алёна

Дмитрий Чемодуров нашёл свою дочь через шесть лет, когда она уже поступила в школу. До этого девочка жила то у тёток в городе, то в деревне у бабки, куда ему был путь заказан: не ладил с тёщей… Да и прежде чем ехать туда, один приезжий осокинец посоветовал ему выпилить из фанеры большие лосиные рога… И часто представлял себя Дмитрий на главной улице Осоки – бредущего в пыли вместе с блеющим стадом, а в окна кажут сельчане пальцами: глядите, Любкин козёл!

В деревню его не тянуло… А Люба тогда, прожив у матери год, после ссоры с Дмитрием, тайно от него вернулась жить в город, и тщательно, с каким-то мстительным чувством до сих пор скрывала от него дочь.

Обратившись в холостяка, Дмитрий изрядно помотался по городам и весям. Заочно подписал присланную бумагу на алименты и развод. Когда он появлялся в своём городке, коротко стриженный и бедово подвижный в новом мешковатом костюме, – родные Любы на его вопрос о дочери пожимали плечами, или, по наущению Любы, острого языка которой побаивались, называли ему ложные адреса. Алименты же Люба получала по адресу, где не жила вовсе. А в горсправке Дмитрию отвечали, что Любовь Чемодурова прописана в его собственном доме, – и от этой дурацкой вести становилось как-то тепло и грустно в одичалой душе…

Дмитрий начинал поиски внезапно, в порыве острой тоски. Иногда во хмелю видел сквозь слёзы, как бежит к нему с радужной высоты ясноглазая девочка со взбитым пушком волос. Он знал, что Алёна выросла, но плакал по той, по маленькой, бессмысленно преданной.

И вот удача. Неожиданно Дмитрий узнал, что Люба работает в горбольнице буфетчицей, и сразу поехал туда.

Завпроизводством, тучная, пучеглазая женщина, одиноко обедавшая в собственном кабинете, остановила на нём судачьи глаза, преодолевая одышку… Она потрудилась сказать ему, что буфетчицы уже третий день нет на работе. Звонил на квартиру – короткие гудки. Дала Дмитрию номер её телефона.

На звонок ответил глухой бас пожилого человека. Это был новый свёкор Любы. Не задумываясь, он выдал Дмитрию свои координаты, и был не против того, что отец Алёны приедет к нему на квартиру повидаться с девочкой, которая пока была ещё в школе.

Пожилой бас – седовласый высокий старикан, в пижаме и шерстяных носках с большими дырами, доцеживал на кухне банку пива с копчёной ставридой. Рядом с ним крутилась шустрая, голубоглазая девочка двух-трёх годков, лицом – вылитая Люба. Она подходила к Чемодурову и, задирая голову, тащила его за штанину:

– Мама на работу шла… – букву «у» она теряла в широкой улыбке, – а Алёнка у нас есть, она в школе. Троечку вчера получила…

Девочка ябедничала, потягивая кверху руками соломенный пук волос.

– Настя… – ласково кивал дед.

Настя была зануда, но не раздражала. Она даже была приятна Дмитрию своей детской наивностью, удивительной схожестью с Любой. И он подумал ещё, что эту девочку здесь любят, наверное, больше, чем неродную Алёну.

Потом дед пригласил гостя курить в ванную.

– А всё-таки ты правильно сделал, что с Любкой разошёлся, – вдруг сказал он.

– А что?

– Да не болеет она, Любка!.. – разразился дед. – Дома не ночевала. Вот Витька и засветил ей глаз. Оба. В переносицу попал. Сейчас в больницу пошла, больничный делает, проныра. Недаром продавщицей работала. Вот целый месяц носки прошу починить, глаза у меня плохие, а ей до фени. Дурак Витька!.. Такая девчушка у него была!.. Он тоже выпить любит. Сейчас на

ТЭЦ устроился этим… как его?.. ну, врежет по кнопке – вся дребедень эта из вагона в топку падает. Таксиста бросил. Дурак!.. А эту носки прошу починить уже месяц, я иглы-то не вижу…

Казалось, обида из-за этих носков терзала деда больше всего на свете. Он был вдов, и когда Дмитрий входил в квартиру, заметил в смежной комнате на спинке стула широкий пиджак старика с двумя орденами боевого Красного Знамени.

Алёна не возвращалась. И Чемодуров, чтобы унять волнение перед встречей, решил пройтись до школы. По дороге внимательно всматривался в лица встречных детей…

В школе была перемена: шум, беготня. Расположившись на полу, между брошенных шубок и ранцев, группа мальчиков обувалась в лыжные ботинки. У них Дмитрий узнал, что первых классов в школе – четыре, находятся они на втором этаже. Он пошёл к директору. Девушка-секретарь подала ему список первоклашек. Алёна в нём не значилась… На всякий случай проверил вторые классы – нет. С разрешения девушки позвонил деду.

– Как нет? Там! – басил дед в трубку. – Школа около бани, правильно? Фамилия? Чума… Чума… Твоя фамилия-то! Ищи!

Пока не поздно, Дмитрий решил идти к подъезду и ждать девочку там: хотелось встретить её одну. По пути забежал в магазин, купил две шоколадки. Минут двадцать стоял под аркой углового дома. Когда озябли ноги, хотел погреться в подъезде… И вдруг увидел Любу. Узнал по походке: шла торопливо, глядя перед собой, держась рукой за ворот плаща-пальто. Показываться ей на глаза было рискованно, но чувства взяли верх: он окликнул её. Люба остановилась, не отнимая руки от горла, смотрела в его сторону мутновато-напряжённым взглядом, близоруко прищурилась.

– Это я, не бойся… – подошёл Дмитрий, глядя на её туго стянутый в талии пояс.

– А чего мне бояться? – узнала она его. – Зачем пришёл? Нечего тут делать…

Люба была недовольна: на белых щеках из-под пудры выступил румянец, оттенив два очень аккуратно и плотно приклеенных, будто втёртых, пластыря под глазами.

– А я к другу пришёл! – Дмитрий неопределённо махнул рукой в сторону дома, решив врать как можно беззаботнее. – Вчера веселились здесь, перчатки оставил. Импортные… А ты разве здесь живёшь?

– Как зовут друга?..

– Друга? Вовка. С первого этажа-то…

– Не знаю нижних… – призналась Люба. Но всё же в глазах её мелькнул подозрительный огонёк, она быстро прошла в подъезд. Минут через пять вышла. Молча встала рядом, приминая носком замшевого сапога снег; из голенищ виднелись узорчатые концы модных гольф-самовязок, уплотняющих без того упругие икры.

– Люба, тебе что, делать нечего? Пошла бы занялась делами по хозяйству, – начал паясничать Дмитрий, зная наверняка, что она никуда отсюда не уйдёт, а будет с ним дожидаться дочери. – Или ты опять в меня влюбилась…

– Слушай, хватит!.. – сказала она. – Уходи. Нечего ребёнка травмировать. У неё отец есть, ясно? Не нужен ты ей. – Она хотела явить ненависть, но в горле застрял ком обиды.

«Ах так! Как деньги – так днём с огнём ищете, а тут – не нужен! И вообще, нужен ли отец, это у ребёнка ещё надо спросить!..» – С этими словами Дмитрий хотел вспылить, но опомнился. Встреча и без того получилась глупой, враждебной. А ведь он желал Любе только добра, был благодарен ей сейчас за эту встречу… Но в то же время, видя её упорство, вспомнив, как его нагло водили за нос, решил стоять до конца, как бы это ни выглядело: уж эту возможность увидеть родную дочь, извините, он не упустит!

– Если хочешь знать, – сказал он, – я имею право по закону раз в неделю забирать ребёнка на прогулку. Даже обязан принимать участие в его воспитании. Отцовства меня ещё никто не лишал.

Люба молчала, смежив крашеные ресницы, и вдруг пошла мимо него прочь. Чемодуров, помня её привычку молча делать своё дело, пошёл следом.

– Ты куда?

– В милицию. Пусть тебя заберут.

– Да тебя саму первую заберут за оговор! – пытался шутить он, петляя по тропке.

– Не меня, а тебя, – уверенно отвечала Люба, – хотя бы за то, что потратили на тебя время, оштрафуют. А я – женщина, мать, мне вера…

Она зашла в незнакомый подъезд. Тотчас вышла и направилась в середину двора, где стояли в низинке хоккейная коробка и сколоченная из досок горка для катания. Там играли дети.

Люба остановилась, вглядываясь. И, подождав, когда он приблизится, сказала вдруг умиротворённо:

– Вон она, на горке. Смотри свою дочь, – и крикнула: – Алёна!..

От группы детей отделилась девочка в красном пальто и с ранцем за спиной.

– Мам!.. – спешила она оправдаться, подбегая с виноватым видом. – Я только на полчасика…

Люба ничего не ответила. Бывшая семья гуськом направилась в сторону дома по узкой дорожке, утоптанной в снегу. Чемодуров шёл последним.

– Люб, ну ты скажи ей…

– Что? – лукавила Люба.

– Ну, кто я…

– Алёна, – сказала мать, и Дмитрий сзади почувствовал, что она улыбается, – ты Димку помнишь?..

– Слыхала, – пропищала девочка.

Они остановились на площадке. Чемодуров подал девочке шоколадки. Алёна, глянув на мать, приняла.

Нет, не о такой встрече мечтал Дмитрий в течение нескольких лет! Не узнавал и себя: побоялся обнять, поднять на руки родную дочь. Неужели это была она? Та самая Алёнка, озорная, ясноглазая пышка, бесстрашно падающая в визгливом смехе из рук матери в его руки?.. И сейчас, глядя на эту нескладную, веснушчатую девчушку, в некрасивом пальто, купленном на вырост, которая посматривала на него из-под косой чёлки как на чужого, чуть сощурившись в невесёлой улыбке с рядом широких передних зубов, – он с болью вспоминал своё грустное детство. Узнавал в ней себя, неуклюжего, мнительного и какого-то несчастного мальчика, которого в школе дразнили Чумадуром. Последние годы Дмитрия прошли трудно и серо, с одной лишь яркой мечтой о дочери. И сейчас это внезапное разочарование, эту боль не хотелось пускать глубоко в душу. Ценой горьких потерь было выработано в душе устойчивое противоядие от всяких стрессов и бед, искалечивших его молодость. И вдруг он поймал себя на том, что среди этих двух людей он всё же больше тянется к бывшей жене, когда-то жестоко предавшей его, и всё-таки доброй, красивой и весёлой женщине, с которой сейчас было намного проще.

Потом он говорил с Любой о пустяках и общих знакомых. И между тем думал о том, что вот какая это странная штука – жизнь. Два человека, которые когда-то не могли жить друг без друга и стремились к встрече, – теперь уже несколько лет живут врозь, как чужие, враждуют из-за ребёнка. Он знал, что подобное творится во многих семьях. Малышам с пелёнок наговаривают небылицы о нехороших отцах, пытаясь воспитать в детях успокоительную для себя нелюбовь к родителю. Дети вырастают, в большинстве находят отцов, сравнивают запавшие в душу характеристики с живым, уже немолодым человеком, что часто не совпадают, – и видят, что их обокрали самые близкие люди. Умышленно, в родительском эгоизме привили им вирус ущемлённости, которая с годами превращается в хроническую грусть при воспоминаниях о безотцовом детстве.

Чемодуровы расставались.

– Не приезжай. У нас свой папа есть, – заученно говорила девочка, поглядывая на мать. – Не приезжай…

Чемодуров ехал домой в холодном, дребезжащем троллейбусе, успокаивая себя в конечном итоге тем, что увидел родную дочь. Он вспомнил о том, что она ни разу не назвала его отцом, и сам он не пытался хоть как-то внушить ей это. «Со временем ребёнок даст всему имена», – думал он. А пока его дело – платить хорошие алименты и не забывать о праздниках, которые ждут и любят дети.

Однако через неделю он не выдержал, набрал номер телефона.

– Не звони! Папка ругается. Нельзя!.. – услышал он тонкий голос, утверждающий старый приговор, и долгие, как тоска, гудки…

И всё же однажды они разговорились. Как понял Дмитрий, Алёна была в квартире одна. Он расспрашивал её о школе, она подробно отвечала, и всё говорила, что мечтает уехать в деревню к бабушке, где провела почти всё детство.

Ко дню рождения Дмитрий выслал девочке два красивых платья, заказанных в Москве. Сам не появлялся: боялся новых разочарований; и на самом деле ему казалось, что встречи выбьют девочку из привычной колеи. А под Новый год отправил ей в конверте билет на детский спектакль в оперном театре, приложив пять рублей на мороженое и записку, написанную крупными печатными буквами. А через неделю после спектакля позвонил.

– Я не ходила… – тянула девочка в трубку. – Никто меня не отвёз. Так жалко!.. И билет целых рубль восемьдесят стоит… Пять рублей у меня взяли, сказали: в получку отдадут. Не надо, не высылай, у меня всё равно ключа от почтового ящика нет. А ты один живёшь? А когда женишься?.. А я хочу, чтобы дядя Витя женился. Всегда ругается. И пьёт, и пьёт…

– Бьёт? – не расслышал Дмитрий.

– Н-нет… А Настя про меня всё ябедничает. Я в деревню хочу, я бабушку больше всех люблю! А сколько до лета осталось? Посчитай… Ой, много!..

– Скажи мне, Алёна, только честно: дядя Витя тебя обижает?

– Н-нет… Ну, не сильно… Вчера его на диван тошнило, где я сплю… Приезжай…

Чемодурова лихорадило. В голове проносились решения: встреча, удар в нахальную образину, – но опрометчивые он тотчас отбрасывал.

– Слушай, Алёна!.. – кричал он в трубку. – Никому не говори о нашем разговоре! Даже маме не говори. А бабушку люби. Люби, кого хочешь любить! И не горюй. Всё зависит от тебя… На днях я приеду и мы с тобой обо всём поговорим. Хорошо?..

– Хорошо…

Дмитрий как никогда аккуратно и твёрдо установил трубку на рычаги.

1988

Неандерталец

1

«В начале было Слово…» – читала за печью, в своей светёлке, набожная Элла.

«В начале было Слово, – думал Люлин, находясь с другой стороны печи, у полыхающей подтопки. – И это слово было – *рука*»[2].

Оно так и виделось ему: сидел неандерталец у костра, глазел на ладонь, сжимал и разжимал пальцы, отбрасывающие на своды пещеры головы гидр; и, разрывая гортань, смазанную пёрышком Энгельса, мучительно произносил: *«Р-р-ру-ка!»*

Рука добывала еду, еда наливала кровью чресла – и сверху пялясь на телесную свою метаморфозу, неандерталец изумлённо восклицал: «Уй!»

Слово нежное, с першением в нёбе приходило само собой: *же-на…*

А потом всё угасало. Из тёмных глубин, из нелепых звуков рождалось жуткое слово *смерть*.

Люлин жёг осину, дрова древние, пещерные, без удушливого дыма и срамотной копоти; в России их ещё называли «царскими».

Завтрашний день не заботил, опять безделье и переживание боли. Три дня назад кисть руки придавило скатившимся бревном, когда заготавливал дрова. Тут через лес тянули ЛЭП, навалили столетние ели в полтора обхвата, бери – не хочу. Люлин отсекал бензопилой бочонки, грузил в «Ниву», где снял заднее сиденье. Цеплял ещё бревно тросом. Хотел справиться в апреле, пока прохладно. Летом топором не помашешь. Разделался с чурбаном – и уже устал, духота, испарина. Тем паче, ель – не осина. Еловый бочонок – это кряж. Стянут сучьями, как болтами. Без клиньев и кувалды не справиться. От сотрясающих ударов болят кости, в суставах люфт, трясутся руки. Нет, трудно далась ему нынче ель. И напоследок прошлось бревно по кисти, как по блину скалка.

Теперь марлевый кокон неподвижно лежал на его колене…

2

Люлин когда-то носил галстук, учился на филолога. Но судьба совершила крен, и вот он уже тридцать лет как мужик. Однако эта самая недоученность оставляла для него калитку в этимологию отрытой. Он читал словарь Даля, вдумывался в звучание слов и удивлялся: как точно, соответствуя предметам и действиям, рождалась первичная речь. Современный словарь, безусловно, замусорен. Очень не нравилась Люлину иностранщина, а ещё, например, слово *верёвка*. У Даля – *вервь, ужища*! Вервь стала *верёвкой*, потому что потеряла нужность, и приобрела функцию *удавки*. Неприятно звучит – *верёвка; в доме покойного…*

Скошенное поле… Да *стерня*, господа, *стерня*!

Люлин перекинул ногу за ногу, достал сигарету. Подцепив совком уголёк, прикурил. Печь нагрелась, тяга усилилась – и дым проворно улетал в трубу.

«У каждого народа свои звуки», – думал Люлин. На татарском рука – *кул*, на немецком – *хенд*. Конечно, жена звучит нежнее и теплее, нежели татарское *хатын*.

Или тормозное немецкое, как лошадиное тпру-у! – *фрау*.

А как *смерть* по-татарски?

---

[2] По Мару первым словом первобытного человека было – «рука».

Люлин вынул из грудного кармана телефон, одной рукой набрал номер.

– Алё. Ислам? Не спишь?

– Слушай, если бы я спал, то всё равно уже не сплю, – послышалось в трубке.

– Извини. Скажи, как по-татарски *смерть*?

– Опять? Зачем тебе?

– А на-до! – заулыбался Люлин. – Положу в ящик, где лобзики…

– Слышь, я уж не помню, – честно протянул Ислам. – Кажется, *улем*.

– *Улем*? Спасибо.

Люлин отключил телефон.

Улем. Звучит не страшно. Да ещё так же, кажется, жена Ислама называла сына – *улем. Улем*, айда кушать. Или *улым*? Хм…

Люлин опять взял телефон, набрал другой номер.

– Чеслав Станиславич, привет! А как по-немецки *смерть*?

Местный хирург Чеслав Станиславович – поляк, но по отцу немец.

Он был не в духе и ответил коротко:

– *Тод*.

– Тот? Федот, да не тот! – пытался пошутить Люлин, как бы извиняясь этим за столь позднее вторжение.

– Саш, я болею. *Тод*, по-немецки *тод*! – повторил врач. – На конце «д». Ты лучше сразу всё спроси. А не по слову за ночь.

– Извини, – буркнул Люлин и отключился.

Тод-тод-тод-тод… Бессмыслица какая-то.

Люлин считал, что и английский язык менее выразительный, чем русский.

Он вообще для себя открыл, что русские – это неандертальцы, а все европейцы – кроманьонцы, презренные каннибалы. И поляки, и французы, и англы. И речь у них… одни от брезгливости пшикают; другие воркуют, как ходящие на еду голуби, третьи от чопорности кривят рот – при гласных заводят челюсть за челюсть, вот-вот схватит судорога. Они всю жизнь ненавидели русских, неандертальцами питались, и потому мы цедим сквозь зубы: сволочи!

В кроманьонских пещерах найдены обглоданные кости неандертальцев. А вот на стоянках неандертальцев костей кроманьонцев нет! Что это значит? Значит, добродушные были! Неуклюжие для совершения коварства, крупные и доверчивые, как боксёр Валуев. И речь у них была своя, близкая к санскриту, к русскому языку, понятная даже животным. В русском языке что-то осталось. Вот Элла говорит: «Когда читают «Отче наш», в клетках замирают львы».

3

На склоне лет Элла уверовала в Господа Иисуса Христа.

А ведь какая грешница была! Давно ли пасли с ней корову Клаву, кувыркались в стогу!

Эта корова как раз их и свела. Шёл Люлин через пойменный луг за самогонкой и увидел женщину, пасущую корову. Очень красивая, с виду городская, даже не верилось, что она пастушка!

Познакомились, Люлин тогда прибыл из Нижегородчины на заработки, был гол как сокол. Элла же имела сарай у пойменного изволока, забор, корову и комнату на станции, ведомственную.

Приютила алкаша Люлина. Обещал не пить. А куда деваться? У него золотые руки: умел тесать скребком брёвна, рубить сруб в лапу, доить корову, крыть жестью, крыть матом, крыть в стогу ежечасно Эллу. Элла ещё не знала тогда, что он – недоучившийся литератор, дипломированный сварщик, механизатор, столяр, плотник… впрочем, ему легче было назвать специальности, по которым он не работал:

– Например, обсерщик! – громко произносил Люлин, заводя под голову руку и уютней располагаясь на сене.

– Как это? – морщила носик Элла.

– Смазчик спичечных коробков серой на спичечно-коробковой фабрике!

– Хм.

– А ещё – переворачивателем пингвинов я не работал.

– А это кто?

– Переворачиватель пингвинов и есть. Например, летит в Арктике вертолёт. Пингвины задирают голову и падают на спину. Сами подняться не в силах, могут погибнуть. Выбегает от станции человек, переворачивает…

Элла поднимается, нагая, от смеха кланяется. И такие ладные у неё ножки! Вот свела их, белые, плотные, муха промеж не пролетит.

Ей бы в артистки! Пить чай с мизинчиком, о тряпках говорить. Квартиру ведь в Москве имела, директором кинотеатра работала. И мужик у неё был видный. Эстонец Эд. Служил срочную в кремлёвском полку, стоял на посту у мавзолея Ленина.

Решили они с Эллой уехать на Взморье. Ради любви, ради новой жизни всё продала Элла, тяготевшая к морю и парусам далёким. И квартиру свою, и квартиру покойной мамы. Вручила Эду стопки купюр. Купил Эд гетры, тирольскую шляпу, поднял Эллу, поцеловал ниже пупка и поехал к дюнам. По вечерам ел сосиски и пиво пил в тамошнем кабаке, с плюшевым медведем у входа, что стоит с чаркой на подносе, как в московском «Яре». А утрами добросовестно искал замок.

И уже вызывал Эллу – глянуть. Нашёл, с черепицей, камином и жалюзи у самого что ни на есть Взморья! А она всё увольнялась, всё с документами возилась, квитанции перебирала. И однажды в тех бумажках, формулярах, квитанциях, что принёс ей то ли нотариус, то ли почтальон, мелькнул набитый печатной машинкой шрифт: «Эд умер».

Поздравляли в том кабаке новоиспечённого деда, кричали *виват*! кричали *ура*! Родились у приятеля то ли два внука, то ли две внучки сразу. Грохнуло шампанское, полетели брызги. И не сразу заметили отсутствие Эда.

Эд отлучился на пол.

Лежал навзничь. Вытянулся в струнку, как на посту номер один. Иссиня выбритый зоб уже заплывал чёрным…

Патологоанатом извлёк из глотки покойного пробку от шампанского, которую тот вдохнул, вероятно, при крике. Судя по глубине её проникновения, вздох был глубоким, протяжным, что не присуще для краткого *виват*, а присуще для более долгого российского войскового *ура-а-а*!

На похороны Элла не успела, да никто и не ждал. А ведь всё же жена. Раз жили вместе, значит, жена, но родня покойного с тевтонским остервенением доказывала, что Элла чужой для Эда человек, пройдоха, ибо печати о регистрации брака в её паспорте нет. А они все кровная родня Эду: сёстры и братья, дочки и сыновья, племянники и племянницы. Да и денег у Эда не было никаких…

4

Так и отдалась Люлину вся, с такою судьбой, с сараем, забором, коровой Клавой, а главное – с редкой северной красотой!

Ведь даже взять её колени – такие колени только у греческих статуй в музеях! Художник голубой кистью на её бёдрах венчики рисовал, под самую тугость трусиков выводил, обозначил кровь, пульсирующую к чреслам. И ведь не поймёшь, где кончаются у Эллы ноги и начинается задница – одна фигурная линия! От плечика до пяты, как на эскизах Модильяни. Не то что

у других: вот ноги, а вот к ним два мяча – и это есть задница! А ещё существуют костлявые бабы, это на подиумах, ворона с сыром между ляжками пролетит. Лопатки торчат, хорошие скребки для отдирки шкур…

А сиреневые глаза Эллы?.. Ах, баба, с чудным нерусским именем! Будто сама с этими цветочными глазами пришла из Балтики, с родины эстов! Где ветер морской навсегда распушил ей до плеч сероватые, паклевидные волосы!

И родятся же такие, ни к месту красивые, ни к месту умелые! Элла устроилась кассиром на местной железнодорожной станции. Быстро привыкла к нужде, к деревенской жизни. Говор тутошний освоила, речь вела то с ханжеской растяжкой, то с крестьянским скороговорным шепотком, обучилась доению коровы, огороду, соленьям, полуязыческим молитвам и траволеченью.

А Люлин гоголем ходил! Надсмехался над миром. Кинув кепку на кол прясла, чтоб та завертелась, закуривал, присевши и щербато лыбясь. Под шепоток августа или сентября, да хоть и апреля-февраля-марта! Читал в небе, в облачках, как в пролетающих стаях лебедей, вольную «жисть». Конопатых жён соседей с толстыми поясницами и корявыми пальцами на ногах журил. Бил весело, не в глаз, а вскользь – по бровям, взлетающим птичками от бабского непониманья.

В полдень, сытый кислородом травным, духом земляным, входил в дом – поесть мясного. У окна, цедившего грешный свет в теремковую сумеречность, обнажал маленькую, как у девчонки, грудь Эллы. Целовал, будто загустевший ком мёда слизывал. И ниже пупка целовал, где кудряшки мелкие, как на голове консула. Чмокал громко, эстонцу – назло, с приветом-с!

Было ей тогда сорок два, а ему тридцать семь, весёлых.

С тех пор прошло семнадцать лет.

И понял Люлин, что счастлив был.

5

Как ни пила Элла про запас травяные отвары, как ни молилась Господу, как ни возил её Люлин по окружным церквам и монастырям, как ни кланялась она мощам всяким, целуя невпопад и рушники, и крестики, и стёкла над мослами; как ни святила дом росами из букетов, – однажды топнула ножкой на нечисть лохматую с текучими глазами – на пса бездомного, сунувшего нос за освящённое крыльцо, да так и поскользнулась, расколола копчик о бетонную грань ступени.

Люлин принёс её в дом на руках. Раскинул диван, уложил. Кормил болезную с ложечки. Но сохла, сохла его подруга, лицо стягивало морщинами.

И приходили те бабы, что с толстыми прочными поясницами, казавшимися ещё крепче под январскими душегрейками. Сутуло вносили в блюдцах пироги да урюки, бульоны да черносливы, и казалось Люлину, что бабы смотрят на него теперь тоже не в глаз, а в бровь – премудро стыдятся его тогдашних мужицких насмешек, его непонимания, что есть главное в жизни.

А Элла не поправлялась.

– Видать, наказал меня Господь за язычество, – шептала она с запрокинутым лицом, с закрытыми глазами.

Люлин, как школяр, чесал кулаком затылок в надежде придумать в ответ что-нибудь успокоительное, но о христианстве имел малое представление.

– А может, Велес наказал за собаку, – говорила другой раз, – собаки у язычников в чести…

И выступала из-под её дрожащих ресниц, набухала слеза. Да так и сохла на недвижной…

Шли дни. Грудь Эллы провалилась, стала вровень с матрасом.

Люлин о чём-то ночами напролёт думал…

И однажды в пору молодого месяца взял штыковую лопату и отправился в огород. Начал копать. Лунный ветер освежал лицо.

Рыл, как и положено, два метра на восемьдесят, дабы черенок инструмента свободно в яме ходил, не ударялся концом о срезы. Сначала работа шла споро. Махал лопатой, уходил в землю – вылетающие комья глотала ночь. Потом пошла слякоть. Липкую, как клейстер, почву сдирал со стали скребком, об камень не отбить.

Он копал подобные ямы на родине, в своей Нижегородчине. Точно такие же прямоугольники. Готовил могилы отцу и матери. Отцу в холодном январе, как раз на Крещенье. Люто тогда измаялся. Главное, правильно распределить силы. Если в начальном порыве изведёшься, то всё – уже в эти сутки не восстановишься, сколько ни отдыхай. Спасёт только сон. И копал в огороде не торопясь, с перерывами, ходил домой пить чай, перекуривал, даже закусил слегка – закачал бензинчика.

Рогатый месяц искрился над головой, как перегретая серьга в горне. В налетающей дымке вокруг месяца просвечивал космос, и при этом яростном свете на ослепшей земле стояла тьма тьмущая.

В три захода Люлин ушёл в яму по самую макушку. Закончил бы раньше, но силы отбирала липкая почва, да ещё на подошвах сапог зачмокали водяные присоски.

Наконец, вот она, при ударе штыка, рыхлая, как творог, – древняя, нижнекембрийская глина! Только не мни да не топчи, – оживёт, и вляпаешься, как муха.

Миллионы лет скальные трещины собирали звёздную пыль, надуваемые минералы, потом эта смесь провалилась в земные недра, выстоялась на дне моря, и вот, в здешней широте, на стыке европейского и азиатского пластов, наехавших друг на друга, эту глину выперло вверх – прямо в огороде Эллы!

Он видел эту глину прежде, когда рыл фундамент. Чудная, метаморфозная: цветом серо-голубая, а если помять, то зелёная. Хороша для кладки печи, выдерживает любой жар, употребляется при строительстве домен и как добавка к металлам.

Из людей, как репчатый лук чиряки, высасывает воспаления, боли, страхи.

6

Сначала изготавливал глиняные диски, увесистые лепёшки. Обкладывал жену спереди и сзади, обматывал пуховой шалью – затворял энергию благотворного радия. По два часа держал да по три раза в сутки. А потом и вовсе стал всё тело толстым слоем обмазывать, будто гуся к костру, и пеклась Элла в схватке атомов, в тихих своих неуёмных думах.

Через три недели поднялась.

И через день сказала:

– Саш, а знаешь что?

– Знаешь, – скривился Люлин.

Пригляделась. Господи, будто век прошёл! Лицо у мужа, как печёное яблоко, усохший череп обрит, обсыпан, будто под олифу, серебрянкой.

– Ты не смейся. У меня, кажется, от твоей глины и цистит прошёл. И яичники вроде как, тьфу-тьфу, не беспокоят. Несмотря что осень. В эту пору как раз прежде мучалась. А сейчас в туалет хожу с бойкой струёй, как девочка.

– А я слышу: того и гляди ведро пробьёшь. – отвечал Люлин, чистя у порога картошку. – А ещё её пьют и едят. Глину-то.

– С маслом?

– С пряслом.

– Я и лицо-то вот помажу!

– Помажь, помажь, младенчиком станешь. Потом замуж за молоденького отдадим, – кривился Люлин.

7

И вот теперь болит у него рука. Обмазать бы той глиной, да нет её. Засыпал, дурень, яму. А теперь – как копать с больной-то рукой, если даже ложку держать невмочь? Да ещё мерзлота в той глубине не отошла.

Элла отправила в больницу. Но там не принимают. Нет у Люлина страхового свидетельства. До сих пор нижегородским значится. Да и там не получал, а может, и получал. Где же помнить-то, раз не болел никогда?

А по руке будто муравьи бегают. Во всём теле, в голове и ногах, температура.

И Чеслав куда-то исчез. Не берёт трубку.

Люлин все эти дни сидел у печи. Жил при ней. А сейчас по причине головокружения перебрался на диван. Поджал, подтянул согнутые в коленях ноги. И казалось, что уменьшился размером.

Иногда уходил в сон.

На дворе рвал деревья апрель, наступал фронтом южных порывов, громыхал железом, досками, тазами, подвешенными на гвозди ваннами. Сейчас часты штормовые предупреждения, выйдешь утром – еловина вверх корневищем растёт. Вот и дождь пошёл. Апрельская непогода хуже, чем осенняя.

Старость…

Неужели всё? Неужели не будет более радостей, другой женщины? Переезда на новое место? Звонкой рубки топором, страстной любви? Господи!

Скоро придёт время, когда у них с Эллой начнутся бессонницы. На рассвете, в сизом мороке, будут молча лежать, каждый в своей каморке, слушать стоны в трубе и бояться обмолвиться. Дабы другой не подумал, что не спит, что состарился…

А потом кто-то вздохнёт, поднимется с тоской в суставах, вяло шумнёт чайником. И в остуженном за ночь доме под звук струи, пущенной из крана, почудится другая вода, неприютная, сыро-сырая, какая набирается в здешних местах в свежевырытых могилах и отражает не облако, а морок донный…

8

Рука до того болела, что бросало в пропасть… И решил Люлин кисть отпилить. Пока не заработал гангрену. Положить шину работающей вхолостую бензопилы на руку, а потом дать газ! Тут не надо смелости, силы воли, чтоб крутящуюся цепь продавить в мясо, в кость, как в древесину. Пила сама за счёт своего веса кивнёт. Только прожать гашетку…

Люлин побольше наложил на кисть солидолу, одной рукой поднял бензопилу и положил шиной плашмя, чтобы заранее кожу не резать, не кровить. Вздохнул, приготовился, затем медленно поставил пилу на зубья. Зажмурился и так газанул!

Кисть отбросило в солому.

Окрасило ржаной пук в свекольный цвет.

И боли нет, только жжение…

И тут вошёл Ислам. Нагнулся, поднял обрезок, будто сор, глянул на Люлина.

– Ты что наделал?

– Не видишь, гангрена?

– Я не о том. – Ислам покачал в руке кистью. – Ты превзошёл дозволенное.

– Как это?

– Уничтожил этимологический код! Ты не руку отрезал. Ты лишил язык ключевого слова. *В начале было Слово, и это слово было – рука!*

– Ну? – до Люлина наконец дошло, и по спине его пробежал холодок ужаса.

– Теперь погиб русский язык! – продолжал Ислам. – Теперь ключевое слово будет звучать по-другому.

– Будет татарское *кул*? – Темя Люлина зачесалось, будто чёрт на коньках там сделал штопор. – Словесное иго?

– А *хенде хох* не хочешь?

– Это что, – сказал Люлин, – придёт на Русь немчура?

– Не знай, не знай, – загадочно протянул Ислам.

– А что – теперь человеку и члены терять нельзя? Как Потёмкину-Таврическому глаз выбили, так и французы понаехали, да?..

– Ты не Потёмкин, это раз, – вразумительным тоном начал пояснять Ислам. – Потёмкин – мелочь. Неуч. А ты самородок. В тебе закодирован русский язык. Ты его носитель. Но этого не знаешь. И никто не знает. Иначе тебя давно бы укокошили и в американский институт антропологии увезли. За русским языком давно охотятся. Это два. И ампутация руки у тебя с медицинской точки зрения неоправданна. Это три!

– Конечно, я горд, – сказал, запинаясь, Люлин, – что я носитель, и всё такое… но почему ампутация не оправдана?

– А потому, что у тебя нет гангрены!

– Как нет?

– Это всего лишь глина! Та, которой ты Элку. Наша зелёная, нижнекембрийская! Так что зря ты… Вот смотри…

Ислам взял отрезанную кисть, опустил в бочку с водой, побултыхал и вынул чистую, с белой кожей, невероятно белой, ибо она была уже бескровной.

– Как глина?! – закричал Люлин, хватаясь за больную руку, но вместо культи обнаружил целую кисть!

…И тихо, с лицом, почти набожным, качнулся в сторону Ислама. Медленно, будто ощутил нимб над головою, кивнул: вот, видишь, как с хорошими людьми бывает…

– Она даже болит по-прежнему, – добавил с нежным чувством, прижимая к груди руку.

– Да это тебе только кажется! – неприятно возликовал Ислам. – Это не рука болит. Это боль ортопедическая! Как у фронтовиков. Ногу оторвало, а она всю жизнь ноет.

9

Тут появилась Элла.

– Ну, Саш, как же ты лежишь! Дай поправлю. Ну что же ты!..

И тут Люлин видит её лицо. Вот дура! Обмазалась глиной! Помолодеть хочет…

Люлин пытается отереть её лицо, тянет ладонь…

Но Элла устраняется, выпрямляет спину и, вскинув руки, несуетливо поправляет распавшиеся волосы.

– Напрасно, Саша, – говорит она обречённым голосом. – Это не глина.

– А что же?

– Это гангрена.

– Гангрена головы?!

– Да, милый, придётся избавиться.

– Что, пилить голову бензопилой?

– Да, обновить.

– А если другая не вырастет?

Тут Элла весело смеётся на его слова.

– А как же у тебя кисть-то отросла? Я вижу, ты совсем забыл, что мы с тобой две ящерицы. Вспомни нашу прошлую жизнь. Как при опасностях мы оставляли свои хвосты, прятались в расщелинах и там предавались любви. В те земные трещины задувало вовсе не звёздную пыль. В глине той прах наших детей, Саша, рождённых в любви и ставших известью! Так что, принимай гостей…

И только тут Люлин впервые заметил – через столько-то лет! – что в речи Эллы – вовсе не тот усвоенный ею крестьянский скороговорный шепоток. А что это она от отсутствия зубов шепелявит – Шаша.

Между тем он послушно обмазал руку жирным слоем глины. Глина сразу, как вещий знахарь, взяла в своё введенье болезную длань, облегла вокруг со свинцовой тяжестью, и с первых же минут стала отсасывать, словно яд, и костяную и душевную боль.

– Здравствуйте, милые, здравствуйте, дети любви, – здоровался Люлин и с радостью начал узнавать милые нечеловеческие лица…

20 мая, 2014

Апологет

1

В петербургском здании, где сейчас находилась его подруга, был флигель с выпуклым вензелем на кирпичной стене – фамильной буквой «М», сквозь белила проступающей древней голубизной; здесь собирались когда-то бомбисты, и когда он вглядывался в ту букву, подруга его, оказывается, уехала, оставила застолье, исчез одновременно с ней и молодой человек, который во время беседы восхищался ею; он был страшен тем, что у него отсутствовало лицо, и вот они исчезли, и в тревоге он понял вдруг, что буква «М» – есть мышка, кнопка в эфирное пространство по имени «князь Мышкин»; он вскочил – сны его уже однажды оправдывались; подруга тоже закричала в тот миг за стеной, ей приснилось, что он лёг на неё, на болячку на её животе, и было очень больно, рассказывала она, приходя в себя, бормоча, задирая колени к подбородку, когда он прибежал к ней, прислонился щекой к груди, к рассыпанным волосам, сильно пахнущим парфюмерией, которой она злоупотребляла, но тело её, однако, было чистым, белым и свежим, неподвластным ядам красителей, и он гладил её по голове, успокаивая, целовал в щёки, умягчённые еженощными масками из серой – голубой – глины…

Далеко в казанской психбольнице в ту пору, когда начинал в церковном хоре Федька Шаляпин, томились народовольцы; там и нынче спецтюрьма и есть музей; в начале гласности мужчина добивался в той больнице встречи с террористом Ильиным, стрелявшим у Боровицких ворот в генсека; в местном музее девушка в юбке с разрезом между прочим достала из запасника осьмушку бумаги, исписанную рукописным почерком, и прочитала диагноз доктора, врачебный приговор народовольцу, больному туберкулёзом, дворянскому юноше, белой косточке, для кого-то родимой – для той, которую проступком своим убил. Диагноз был написан стилем замечательным, старинным, исполненным имперской опрятности, чиновники в те времена умели писать, земской врач или горный инженер знал тогда античную литературу не хуже современных литераторов. Тот юноша должен был умереть…

А генеральская дочь на ту пору уже отвисела с холщовым мешком на голове, откачалась со скрипом осиновым – на канате; под крик ворон сброшенная с перекладины, грохнулась, как свекольный куль, на осклизлые доски, в теплице взращённая, нежная дочь – страшная государственная преступница; лежала на боку, чуть подвернув ногу; женская фигура напоминает гитару, восьмёрку, и если восьмёрку положить на бок, то получается знак бесконечности – знак продолжения рода. Она была увезена и утрамбована в болотную – голубую – глину у серых чухонских вод; лежала с заляпанным лицом, в тиковом платье, в котором казнили, недалеко от праха убиенного ею царя и первых строителей Санкт-Петербурга, уплотнивших, как щебнем, костьми зыбкие почвы. А в гатчинском дворце танцевал уже новый царь, в конюшне бил копытом уцелевший рысак и на крепостной стене хромое вороньё клевало труп растерзанной чайки. И было, наверное, в те минуты приговорённому юноше всё тускло, обыденно, смертно, – в том самом замке тюремном при психиатрической лечебнице, что стояла на обрыве реки Казанки, далёкой, полусибирской, в землях недавнего золотоордынского ханства. Там же, в императорской лаборатории, медик Бехтерев без наркоза кроил на столе мозги крикливым приматам, в ужасе цеплявшимся своими закорючками то за волосья, то за отвороты халата, – вязал да склеивал мозги слюной, с поплёвыванием и чертыханьем. Поступал с африканской нежитью так же, как с умалишёнными, или лишёнными тут ума людьми, и чётким слогом на зависть щелкопёрам слагал в вечерние часы за чаем посмертные резюме… Слова в записках были проще и выразительней выражений великого мэтра, мстившего праху Чернышевского за потерянные имения – и тем невольно сотворившего последнему неслыханную рекламу муче-

ника, чего не в силах были сделать все советские учебники по истории и литературе. На эту осьмушку бумаги и захотел мужчина глянуть ещё раз во время повторной поездки в Казань. В приёмной психбольницы он попросил разрешения посетить музей. Но времена изменились. Крашеная блондинка у входа в кабинет главврача, не сходя с места, преградила ему дорогу презрительно-ненавистным взглядом, на вопрос о музее, смекнув мгновенно, отрезала, что работница музея с сегодняшнего дня в отпуске, а к врачу, нет, нельзя! Новый главврач Гатеев, по сути преемник Бехтерева, в литературе преуспел тоже, но по-своему: читая доклад врачам, произносил: «гепатит Сэ и Вэ» – странно озвучивал по-русски латинскую букву «В», конечно, не в силу действия акцента. Ибо латинское «В» равно и при татарском акценте звучит как «Б», а латинское «С» звучит как «Ц», ведь даже лесной татарин цитрус назовёт цитрусом, а не ситрусом. Тем не менее при новых властях главврач остаётся местным ханом, любовницу с медучилищным образованием вводит в научный отдел старшей сотрудницей, там отказываются работать уважающие себя врачи – и в Первопрестольную летит анонимка. Анонимку отправили обратно в Казань, чтобы принять меры, и меры приняли: тот, на кого писали, собрал в аудитории врачей и устроил, как школярам, диктант. Вор после графической экспертизы, конечно, был пойман, справедливость восторжествовала – кто сказал, что её нет?! Любовница была в восторге, всесильному чёлкой щекотала живот, а тот, как мальчик, задирал ножки. Предатели сникли, катали на кухнях хлебные катыши и с тоской глядели по окнам; мерзавец же, что писал кляузу, был уволен, он до сих пор без работы, постарел, иссох волосьями, они секутся и опадают, как листья, говорят, что он скоро умрёт, и уже не ищет правды…

Думая обо всём этом, сонный мужчина поднялся и вернулся на кушетку. Уже подбирался рассвет, струился сквозь тюль в небольшую квартиру с дребезжащим пустым холодильником, которую подруга снимала; и когда мужчина прищурился, проём окна растянулся, как белая резинка… и стрельнул в натруженные вчера у монитора глаза.

«Погоди, – сказала женщина, слепо вытянула через голову в его сторону руку, – иди сюда». Опять предстояло её душить…

Измены женщины снились и прежде, он прибегал к ней с кушетки, упрекал; ей было стыдно за его сны, она чувствовала вину, что такое может о ней присниться, месяцами он не спускал с неё глаз – и, в конце концов, она чуть не сбежала в Париж к тучному сибариту алжирцу, на фотографии закатившему маслины глаз под нефтяной дым своей шевелюры; он писал ей, чтобы она прислала ему фотографию своей ступни, он очень любит нюхать женские ступни, – и она отсылала ему этих «рыбок» (мужчина извлёк из компьютера целый косяк, плывущий во Францию), алжирец присылал ей в ответ образы бабочек с пульсирующими, будто в оргазмической дрожи, крыльями, слёзно просил приехать на туристическом автобусе опять, – и тогда мужчина понял, что подруга его надула ещё в прошлом году, когда ездила на автобусе в парижский Диснейленд. У него всё встало дыбом, он зашёл в комнату, как горилла, скинул одеяло и начал женщину душить… Она сначала малодушно лгала, а после была в ужасе, хрипела и брыкалась, тотчас от алжирца отреклась, проклинала его, подлеца, наркомана и лодыря, – и в ту ночь подарила мужчине такую ночь, что все энтомологи мира позавидовали бы краскам его бабочек… Однажды перед рассветом, когда за окном распадалась мгла и смолкал на мокрой набережной резиновый лячкающий шум, она произнесла: «Я хочу тебе что-то сказать…» – «Что?» – «Нет, не могу, стыдно…» – «Что? – закричал он. – Опять?» – «Нет, ничего страшного; просто мне нравится…» – «Что? Отвечай!» – «Я получила физическое удовлетворение, ну… когда ты меня в ту ночь душил…» И теперь она всегда просила по ночам душить её; глядела, разверстая, удушаемая, снизу тёмными глазками, как прижатая мышь, в глубине зрачков её хранились испуг, восторг и жертвенная покорность.

2

Сизыми утрами над эшафотами, где ветерок свежее, шибко чувствуется запах водки и сытой мужской утробы. Палач, прощённый каторжанин Иван Фролов, с красной харей и вывороченным веком, рыгал и покряхтывал на помосте, он был одет по-русски: кучерская поддёвка, красная рубаха навыпуск и позолоченная цепь на брюхе. Криво прицелясь, он резко выбил тумбу из-под ног – и убил Кибальчича. Богатырь Михайлов растолкал подручных и сам взошёл на эшафот, продел петлю через голову, крикнул в толпу, что их пытали… но барабанщики стёрли слова усиленным боем. Михайлов был грузен, велик, и когда из-под ног была выбита тумба, его кинуло в пропасть, верёвка сломала гортань, струной ударила по затылку, верёвка оборвалась… и с высоты двух с половиной аршин он упал на помост, повредился телом… Теперь он не мог подняться на эшафот самостоятельно, ему помогли подручные палача; он чувствовал их руки, как руки друзей, надёжные, верные руки; ему накинули на шею петлю, приладили с шуткой, будто галстук на первое свидание; теперь, когда выбивали тумбу, он напрягся – и не зря… верёвка опять не выдержала, и он вновь ударился о помост. «Помиловать! – кричал студент из толпы. – На то Божья воля!» Но подручные молча выполняли своё дело… Только с третьей попытки зависло в воздухе тело. Вертелось медленно, грузно, пугающе… и будто не выдержав напряжённых взглядов, натяг под перекладиной вновь начал перетираться: два стёршихся конца раскручивались, трепеща, как язычки пламени. «Помиловать! Помиловать! – кричал голос. – Больше верёвок нет!» Но верёвка нашлась, родилась не от карандаша зеваки, который сделал исторический рисунок с двумя канатами на шее бунтаря[3]. Службу сослужила удавка, предназначенная для Геси Гельфман, казнь которой была отложена из-за беременности…

Перовская не видела, как сопротивлялся Рысаков, не видела, как палач потешался над Желябовым: сверх обычной петли, затянутой на шее, наложил вторую – узлом на подбородке, и тот долго бился в конвульсиях, описывая круги в воздухе, – и в этом сонме двуногих рыб, кишащих на площади с зонтами и плюмажами, в капорах и шляпах, он никак не выделялся, качался, крутясь на бризе, будто вялили к обеду. Палач поплёвывал на головы зевак и чертыхался. Трупы народовольцев погрузили в ящики и увезли, чтобы тайно захоронить. Зеваки кинулись к эшафоту – раскупать обрывки верёвок: говорят, приносит счастье. А новый царь из сонма русских царей уже теснил датскую принцессу Дагмару, поселил в Зимнем дворце другую бабу и там клепал детей, таких как сам, неказистых исторически. В Древнем Риме во время полувековой смуты погибло ровно пятьдесят императоров, кому-то отрубили лицо, кому-то вспороли божественные кишки и выбросили тело на помойку, но каждый, восходящий на престол, на что-то наделся. Как надеялась на что-то мёртвая рыба из стаи пойманных в сети рыб, выхваченная фотографом как товар для кулинарии: когда смотришь на онемевшую морду – смотришь долго, обретает эта рыба человечье лицо: собранные в полукружья, будто в изумлении, надбровные складки, выпученные глаза и рот, жёсткий рот, как на маске актёра печали, скорбно опущен уголками губ вниз. Это тоже судьба, трагедия…

Несмотря на топорное лицо и телесную неотёсанность, мужчина когда-то робко относился к женщинам; коснуться хрупкого плеча, позволить себе разгадать кодированный крик духов – казалось для него кощунством, в лицах он видел лики, в ликах – земную юдоль; когда разглядывал женские чресла, рисунок вен возле белых бёдер, он видел историю хрупкую мира, с первородным узнаванием осмысливал исток всего сущего. И какая бы женщина ни была, робкая или хищная, этот осоковый разрез между ног был для него трогательно беззащитен и

[3] Рисунок присутствовавшего при казни флигель-адъютанта А. Насветевича.

вызывал сострадание, как открытая рана, а само обладание женщиной означало – осквернить эту рану…

Когда её вывели из каземата на двор, чтобы посадить на высокую арбу и везти через город к месту казни, – милая девочка, она увидела палача, вздрогнула и чуть не заплакала. Когда палач выдернул из-под её ног тумбу, она будто взмахнула крыльями, зажмурилась и будто взлетела – смерть её была мгновенной. Её зарыли в сломанном щелястом ящике, казёнными сапогами долго и тщательно утрамбовывали землю; а после годы и годы несчастная старушка обивала пороги петербургских палат, умоляла смотрителя кладбища, чтоб тот показал ей место захоронения. За смотрителем неотступно ходил штатный соглядатай, – тот самый, с усиками, в чёрной паре и чёрной шпиковской шляпе; во время слёзных уговоров выглядывал, будто вырезанный из картона, то из-за оконной рамы, то из-за ограды, и вновь скрывался, как мишень в тире. На другой день кладбищенскому смотрителю устраивал многочасовые допросы жандармский офицер и каждый раз, довольный, оттягивая ус, резюмировал протокол словами: «тайна захоронения сохранена».

3

Рассвет над Заячьим островом был бледен и нереален, как виртуальная глубина монитора. Здесь продавались места на кладбищах различных планет, детские органы и полоний, австрийский гомосексуалист приглашал жертву для ритуальной казни: секс, убийство и вырезанная печень, которую он съест, – на то согласилось человек двадцать, и соперничали между собой, изощряясь в красноречии. Меж тем планета, как закинутый мяч, летела в сумерках космоса, урча, ревя и пиликая; кто-то спал, кто-то с другого её конца писал ему письма.

Женщина лежала в постели неподвижно, прижавшись щекой к подушке, лицо её выражало не то свершившееся удовлетворение, не то запоздалый испуг; одна ступня, с крашеными ногтями, будто в красочном оперении, свисала с кровати. Бугром выступало бедро. Женская фигура напоминает гитару, восьмёрку, а если восьмёрку положить на бок, то получается знак бесконечности…

Мужчина, в шляпе и длинном линялом пальто с низкой талией, скалясь от утренней сырости, вышел из подъезда, прошёл под аркой дома и, перепрыгнув через лужу, направился в сторону шоссе. Улицы в такую рань пустовали, по газонам, цепляясь за кустарники, отступали клочки тумана. Мужчина прошёл к автобусной остановке, у ларька приподнял воротник пальто, вынул из кармана деньги и заплатил сонной продавщице в окошко. Затем молча ел колбасу с хлебом. Сутулясь, он сурово глядел на дорогу, маленькие глаза его были неподвижны, а уши под шляпой мерно шевелились.

Мужчина взял ручку, лист бумаги, подложил под него книгу и, устроившись на кушетке, начал писать от руки:

«В петербургском здании, где сейчас находилась его подруга, был флигель…»

Июль, 2007

Всё впереди

Сергей Абдулыч собрал вещи и снял с вешалки берёзовый веник.

– Я в баню!

– Опять?

– Опять.

– Своя баня есть, а он – в общий класс ходит!..

Абдулыч промолчал.

– Триста рублей ему не жаль!

Абдулыч виновато пошаркал ступнями о половицу…

– И почему люди такие дурни? – сокрушалась жена. – Своя баня топится. Надел халат и пошёл. Прибежал из парной – чай в самоваре, диван. А он – нет! Он в общественную грязь прётся. Да ещё бюджет тратит!

– Я зарабатываю.

– Ну на фига тебе эта общественная баня?

– А потому что надА! – не выдержал муж и хлопнул дверью.

Местная слободская баня находилась недалеко, имела лучшую в городе каменку. Сюда съезжались все знатные парильщики, в выходные была очередь.

Раздевались, входили в терму и дружно начинали устраивать свой порядок. Выметали из парилки листья, мыли ступени, пол, ошпаривали всё ледяной водой, давали продышаться. Затем посыпали полатьи травами, плескали в каменку из большого ковша и парились до упаду. Отдыхали в зале с распахнутыми окнами, пили чай и галдели. О футболе, хоккее, автомобилях.

Абдулыч мог бы среди них стать своим человеком, там все перезнакомились, но не хотел. Любил наблюдать, иногда лишь заговаривал.

А больше сидел и думал. Хорошо после парилки думается. Особенно вспоминается детство. Здесь он сидел в общей очереди с молодым отцом. Хромой банщик выходил из-за занавески и кричал: «Следущий!..», брал билет и опускал в щёлочку железного ящика, который был на замочке. Там, прячась на чердаке, курили с мальчишками. А вечерами со двора взбирались на карниз и наблюдали, как моются женщины. Среди них были девчонки из соседних классов. Отличницы, недотроги, а тут ходили, как на шабаше, – совершенно голые… А однажды он увидел новую училку по физике, в которую были влюблены все подростки. Груди торчком, мягкая выпуклость таза – возле душа стояла с мокрыми волосами. И будто подняла глаза на окно, где стоял Сергей, – он так и свалился с карниза от страха…

А вон за окном – хлебозавод. Через огромные окна видны цеховые агрегаты. Там Сергей подрабатывал на каникулах: собирал с конвейера и складывал в лотки булки. Первую зарплату отдал матери. Ещё в здешнем магазинчике купил ей килограмм «Кара-Кумов». Теперь этот магазин снесли…

Распаренные мужики выбираются из парной, как гладиаторы из жаркого боя. Над дверью – деревянный бочок со свисающей верёвкой. Вышел, дёрнул – и на тебя поток жидкого льда из бочонка!

В который раз выходит старик. Плотно скроенный, бурый, качает головой и рычит с татарским акцентом:

– Ай, серице болит! Серице!.. – И, становясь под бочку, дёргает шнур…

Было время, сидя в этой бане, Сергей мечтал построить собственную. Тогда, при совдепе, бани редко у кого имелись, в черте города-то. Не было места, отсутствовал стройматериал. Это сейчас в магазинах всего навалом. И всё же он построил. Топил дровами, а после нелегально от «воздушки», что проходила через его огород, подвёл газ. Днём и ночью горелка пылала, как вечный огонь. В любое время заходи и парься!

И он парился. И до того, что выпаривал из организма все минералы. И ходил, как после гриппа. Баня стала для него чем-то вроде наркотика.

Прибежит с работы в лютый мороз – и в парилку, отогревать оледеневшие руки и ступни. Сидит в пальто перед печкой, курит. Мыться не собирается, парился лишь вчера… Но вот проступает испарина на лице, начинает зудеть между лопаток, а по груди вовсе муравьи бегают. Веника просят. Что делать? И вот не евши, не пивши, скидывает Сергей пальто, одежду, ботинки, бросает в раздевалку. И как жахнет из ковша, да как жахнет!.. И будто вылетают из каменки жаркокрылые серафимочки. Уж так крепко обнимут, горячо прижмут, каждый прыщик на спине поцелуют, нежно прижгут: ах, Серёженька, ах!.. И, будто пьяный какой силуяныч-богатырь, сдаётся Сергей – вытягивает на полке своё сильное, красивое тело, смежает ресницы, отдаёт себя любить. Только пальцами ног чуть шевелит, да и то от удовольствия.

И вот так каждый день. Почти наркотическая зависимость!

Так прошло несколько лет.

И вдруг будто ёкнуло что. Стало скучно ему в собственной бане! Одиноко. Из года в год – и всё один в закопчённых стенах. Как неандерталец в пещере! Разговаривать сам с собой начал. Нет, рехнуться не боялся. В бане у всех мозговая активность. Как у древних римлян.

Собеседников не было, вот что!

С женой париться он не любил. Обвешается тряпьём, сложит в ковш пузырьков и несёт, как яички в сите. А в пузырьках – химия! Эфирные масла! С апельсинового его просто тошнит. А ещё полотенца на полати настелит и сидит, как богдыхан в юрте. А от влажного тряпья воздух тяжёлый, не боевой.

Абдулыч любил жарить спину на горячих досках. А плескать в каменку лучше квас! Разбавишь водой, чтоб не дымил, плеснёшь – и дыши ржаными хлебами, как в пекарне!

И веником любил махать без помех. А тут: «Ай!.. Ещё раз плеснёшь, смотри!»

Скучно, однообразно.

Как-то признался супруге:

– Схожу в общественную. Может, одноклассников увижу, поболтаем.

– Зачем? – сказала жена.

– С одноклассниками поболтаю.

– Они что – выстроились в бане и тебя ждут?

Она всё наперекор. Уже сколько лет! Скажешь: не идёт тебе рыжий, это всё равно что зелёный или синий, не было у людей такого цвета от роду! Нарочно в рыжий покрасится.

Ночью начнёшь приставать, нагрубит. А как плюнешь, замотаешь голову одеялом, отвернёшься, чтоб зверски спать, начнёт в стену стучать:

– Серёж, не спится что-то.

И голос у неё жалобный, словно тот – девичий…

Сидел Абдулыч в бане часа четыре, а то и пять, пока чай в термосе не кончался. Тело в парной уже не ощущало зуда, и веник к коже прилипал, как мокрая тряпка. Уже и старик-татарин оделся. Выходя, удовлетворённо покачивал головой и всё бормотал: «Ай-я-яй, серице…»

Абдулыч спускался вниз. В буфете заказывал двойной чай, садился за дощатый столик и опять наблюдал, как живут и общаются люди. Давным-давно в этой бане работали молодожёны: симпатичная парикмахерша Ляля и её муж Зуфар. Зуфар, в щегольском пиджаке в клетку, иссиня выбритый, исполнял должность электрика, администратора, а главное – мастера по аппаратам с газированной водой, которые только что в стране появились. Аппараты то и дело ломались, Зуфара кричали, он приходил, открывал их своим ключом, ремонтировал, заливал из трёхлитровой банки сироп, выгребал из ящичка кучу денег по три копейки, запускал в карман и уходил. Женщины из разных служб то и дело зазывали его – сделай то, сделай это. Он опять откликался с охотой, отпускал нескромные шутки, дамы хихикали, и Ляле это очень не нравилось. Парикмахерши, работая ножницами, расспрашивали Лялю не без зависти, что

Зуфар купит ей на день рождения, повезёт ли её нынче на юг. Ляля путалась, краснела, но пыталась ответить с достоинством.

Маленький Сергей, сидя в очереди, наблюдал за этим. А когда Ляля стригла его, всё вертел головой – хотелось понюхать, как пахнут её пальцы. «Да сиди ты ровно!» – нетерпеливым голоском теребила Ляля. И было обидно, что она не обращает на него внимания, как на мужчину.

Выходил Абдулыч, когда уже уборщица мыла полы в дальних помещениях, а в женском отделении выключали свет.

Домой не хотелось. Он покупал ещё чаю. Выносил на улицу и, примостившись у пореб-рика, тянул его. В темноте долго вглядывался в конец улицы. Там в свете фонаря стояли берёзки. Там был выход из посёлка на асфальтированную улицу. Оттуда он ходил в школу. Очень давно, когда всё было ещё впереди…

13 декабря, 2010

Корни

Нынче приехал я в Казань и с вокзала сразу на пляж. Это мой обычай – поздороваться с Волгой.

Погода не жаркая, пляж «Локомотив» почти пуст. Вдоль берега через ивняк идут юные волонтёры, собирают мусор и поют гимн России.

Купаюсь я и один мужчина моих лет. Разговорились. О Волге, о Казанке, о пользе плавания. Оказалось, мой новый знакомец тоже, как и я в эти дни, сдаёт документы на пенсию. А ещё выяснилось: в детстве мы отдыхали в одном пионерском лагере в Гребенях. Ну это, конечно, при том, что наши мамы работали на одном мехкомбинате, где и давали путёвки в эти Гребени!

– Ну-ка, ну-ка! – начал всматриваться я с шуткой в лицо мужчины, пытаясь в нём узнать какого-нибудь пионера…

– А что – Рустем Камаев! – смело представил он лицо, сияя на фоне реки ясными глазами: мол, вот он я, меня многие знают как неплохого человека!

Ко всему прочему, оказалось, что его дочь учится в Литинституте, где когда-то учился я! Мало того, этот мужчина, Рустем Камаев, знает лично и нынешнего ректора Литинститута Есина, и Сидорова, ректора бывшего, затем министра культуры РФ, а теперь мастера группы, где учится на критика его дочь.

Рустем спросил, как почитать мой рассказ о Гребенях. Я назвался, а рассказ в интернете. Для верности оторвал край договора на телефонные услуги в Казани, где была напечатана моя трудно запоминающаяся фамилия, и отдал ему. Он был тронут.

Мы простились. Он пошёл в город, а я в сторону кофейни, что у лодочной станции. Вдруг вспомнились его слова, что он жил на Ухтомского. Вспомнился и рассказ моего отца, что он с ранением заходил к другу на Ухтомского в декабре 1943 года…

Мой отец работал до 1942 года на 22-м заводе, строил самолёты. Потом фронт, ранение. На какой-то станции раненые бойцы играли в очко, отец много выиграл, отдал деньги медсестре, а та ему – историю болезни. Отец сошёл с поезда в Казани, а не в Зеленодольске, чтобы повидать на часок семью, зашёл к другу на Ухтомского, попили чаю и ночью, прячась от патруля и нарядов НКВД, пробрались на Калугу…

Я пил кофе и думал, сильно переживая: а может, этот человек с Ухтомского, друг моего отца, – и есть отец моего нового знакомого? Эх, жаль, что простились! Не успел спросить!..

Но Рустем не пропал, он нашёл мой адрес и через три недели написал доброе письмо. Я спросил его об отце – какого года он рождения?

Рустем ответил: его отец 1903 г. р., не воевал, работал на 22-м заводе, была бронь.

Итак, мой отец тоже работал до 1942 года на 22-м заводе. А также его средний брат; брат часто попадал под облаву, забирали в военкомат, мурыжили, но после звонка с завода отпускали. Однажды он сказал матери: «всё, надоело!» И ушёл на фронт, и в первом же бою под Москвой погиб.

Погиб и старший брат отца.

Ушёл и мой отец, но выжил.

И вот через 72 года после встречи друзей на Ухтомского – встреча с Рустемом. Его ли это был отец?

Тут ещё деталь. У меня есть рассказ «Такая жестокая», где я на «Ниве» под мостом «Миллениум» ищу заваленную грунтом старую асфальтовую дорогу – с пляжа в парк Горького, это было 2010 году. Рустем вспоминал в письме, что тоже бродил в тот год, «ностальгируя» в тех местах, и видел лихача на вишнёвой «Ниве», – тот прорывался через камыши и лужи к солдатскому пляжу, а потом – куролесил зигзагами под «Миллениумом».

Если он хотел сделать мне приятное и солгал, то откуда он знает, что я кружил вокруг осин на солдатском пляже, и что авто у меня вишнёвого цвета?

Вот такие случайности, или совпадения…

Порой пройдёшь по улице и не узнаешь близкого твоему роду человека; не узнаешь в прохожем точную копию своего прапрадеда – троюродного своего брата, а то ведь грешным делом и влюбишься (с нескромными мечтами) в свою юную прабабку, бессмертный лик которой пронесёт в своём лице вдоль витрин какая-нибудь молодая незнакомая особа…

Сентябрь, 2015

Ночное

На Зорге остановила молодёжь, они что-то праздновали допоздна, и вот провожали гостей. К окну водителя подошёл парень, дал денег, просил подвезти сестрёнку в Кировский район; девушка уже усаживалась.

Я тронулся, и парень в зеркальце начал удаляться с улыбкой надежды и доверия.

С виду ей было лет восемнадцать, в брюках, волосы распушены, откинуты за спинку сиденья.

– Ой, как здорово! – сказала она. – Поедемте в лес! На Лебяжье!

Надо сказать, я слегка опешил.

Да и брат её денег дал всего-то до Кировского района, до Лебяжьего по таксе раза в три дороже. Странная девушка, – ночь, незнакомый водитель, и на тебе – в лес!..

Что ж, поехали. Мне тоже город надоел.

Ехал медленно, молча смотрели вперёд, иногда, пролетая, ослепляли встречные автомобили.

На Лебяжьем я взял чуть правее от шоссе. Остановился.

– Здорово! Вот туда, – сказала она, указывая в темноту.

Я поехал по извилистому просёлку, едва различая стволы деревьев.

– Подальше, где нет людей.

Было в ней что-то чистое, откровенное. И я уступал её просьбам.

Поплутал между деревьев, остановился.

– Где у вас тут?..

Она нагнула голову, покрутила сбоку сиденья винт, опустила спинку, откинулась, расслабилась, закрыла глаза:

– Тихо, ни души…

Мы молчали. Смотрели через лобовое стекло в кромешную тьму нависших ветвей…

Молчали минут десять. Наконец, она решила выйти. Я отвернулся, опустил стекло и закурил, высунув голову, чтобы не видеть, что она делает.

Услышав хруст ветвей, обернулся – идёт неровным шагом, закидывая вбок одну ногу – нога не сгибалась.

– Гипс? – сказал я.

– Нет, у меня нога изуродована. Я в детстве попала под КамАЗ.

На обратном пути она рассказала, что они играли с девочками, на них напали мальчишки из соседних бараков, девочки гурьбой побежали, а моя незнакомка, чтобы отвлечь от подруг опасность, на бегу резко вильнула вправо, на шоссе. А там – КамАЗ!..

Она рассказывала это без обиды на судьбу, и даже, казалось, гордилась своим поступком. Она была ещё ребёнком.

– А нет возможности что-то исправить? – спросил я после долгого молчания.

– Есть, но операция стоит четыре тысячи долларов. Откуда столько взять?

– Да уж…

– Советовали написать письмо Ельцину, – продолжала она. – Мы с учительницей написали, никто не ответил.

– А где живёшь?

– С мамой. Мы в бараках живём.

– Парень есть?

– Откуда! Они вон клей нюхают в посадке.

– Клей?

– Надевают на голову целлофан и в нём нюхают. Сначала нюхали ацетон, сейчас «Момент» в моде. «Кино» смотрят.

Она говорила о мальчишках без злобы, презрения, даже с каким-то интересом, пиететом. Будто жалела, что её в мальчишество не берут. Будто забыла, что именно они загнали её под КамАЗ.

– А чем занимаешься? – спросил я.

– Я рисую, леплю. Ходила в художественную школу.

– Вот здесь остановите, – сказала она, прервав мои раздумья, вышла и пошла через пустое ночное шоссе на другую сторону улицы, вскидываясь и приволакивая одну ногу.

Ехал тихо, благо ночные улицы были пустыми…

Однажды видел красивую женщину без ноги, ужасное зрелище! А тут девочка! Это не укладывалось в мировосприятие, вызывало протест.

Как помочь? Перебирал варианты, вплоть до сумашедших. Когда просишь не для себя – легче, не надо унижаться. Есть депутат Госдумы, миллионер. За помощь в предвыборной компании долго жал руку, влажно и тепло смотрел в глаза, обещал кабинет, бизнес, книгу. Книга стоит дорого, от книги можно отказаться…

Но где же я её теперь найду, если даже улицу не запомнил, где она вышла?..

Навстречу по асфальту ползли круги от ночных фонарей.

В лес?..

Время бандитское, девушки вообще боятся частников, а эта осмелилась сесть ночью. И в лесу продержала почти час…

У неё нет парня. Кому нужна хромоножка? Но если такой найдётся, хотя бы на одну связь, если он не конченый алкаш, которому только инвалидка не откажет, – сверстники засмеют, да такую кличку ему присобачат, что всю жизнь не отмыться. Наверняка там, в бараке, и ей дали кличку, связанную с хромотой. Подросток жесток. В нашей школе историчке с лицом, как у мальчика из пещеры Урарту, кричали вслед: «Первобытная!» А мужчину, потерявшего на фронте глаз, звали «Камбала».

Девочка эта себя в жизни найдёт. Но куда девать при движении к цели инстинкт? Он не отпадает на время, как хвост ящерицы. На вечеринке были пары, счастливые пары, и, может, девочка тоже захотела жить, жить, как они. И вот, разгорячённая с вина, позвала туда, где нет людей…

Но как?

Не потому, что она инвалид. Да пусть хоть у неё будет сорок здоровых ног, как у сороконожки. Как – если ты сам женат?

Или ты обязан был? И это милость – всё равно что помочь страждущему?..

Приближался рассвет. Веки отяжелели.

Чушь. Ничего она не хотела. Просто смелая.

Хотелось домой. Там встретят. Ты будешь спать. Будут лететь годы. А на ночном шоссе бессменно будет стоять эта девочка, одинокая, никому не нужная…

Сентябрь, 2015

Бабушка

Мы с грустью провожаем перелётных птиц.

С радостью встречаем их весной. Но радость омрачается: возвращается птиц намного меньше, чем улетело. Их отстреливают; иные не выдерживают трудного пути.

Мы с маленькой кузиной Рузалиёй не раз наблюдали, как бабушка, заслышав клич уток, семенила на огород, на открытое место, запрокидывала голову, в белом платке, свисающем до плеч, и тихо голосила на татарском языке: «Милые… добрались…»

Косяк галдел, качался в вышине и двигался неотвратимо, и меня пронзало ощущение жути пред силой природы – олицетворением великой миссии продолжения рода и любви к родине.

Бабушка встречала птиц каждый год. Однажды утопила калоши в разбухшей грязи огорода и её пришлось выводить в одних носках, подкладывая под ноги доски.

Ютилась она у младшего сына, брата моего отца, у строгой снохи тёти Фаи. Дети боялись её. Особенно бабушка. Потому что пенсию не получала. Старалась мало есть и меня учила пить чай так: кусок сахара делить на четыре части клещами и завёртывать в носовой платок.

Однако вскоре бабушке назначили пенсию за двух погибших сыновей – орденоносцев. Заплатили сразу за все годы, что она жила без денег, получилась крупная сумма, и, конечно, на её деньги сразу купили телевизор «Рекорд», один из первых на нашей улице.

И всё же бабушка не имела права голоса в семье.

Однажды тётя Фая заставила мужа выставить на двор фикус, что стоял у них в зале – уже не модно. И бабушка ничего не могла поделать.

Вечером я смотрел у них телевизор (у нас ещё не было), кузина сидела на диване и читала книгу, – повесть о том, как старушку в трудный год вывезли умирать в зимний лес.

Рузалия читала быстро, и пока я смотрел кино, одолела книжку.

– Ну? – спросила тётя Фая, обращаясь к дочери.

– Мама! – зарыдала та, – неужели я с тобой такое сделаю?!.

– Ни-ког-да! – воскликнула тётя Фая.

А кузина испуганно плакала, будто виноватая в том, что написано в книге, и её будут бить.

– Никогда, кызым! – уверенно повторила тётя Фая и поднялась со стула, поправляя запястьями высокую грудь.

Фикус до осени стоял в саду на столе. Широкие листья его пошли желтизной.

Однажды я играл под яблоней и увидел бабушку. Она волочила калоши по длинной кирпичной тропе в сторону деревца, издали простирая руки.

Она плакала, встав напротив умирающего фикуса, жалела и жалилась – и казалось, не было в мире пронзительней картины!

Была бабушка на то время достаточно стара.

И нет её уже полвека.

Недавно хоронили родственницу, клали в её могилу. В пустое место.

Вместо бабушки – земля! Чистая, рыхлая, как на грядке в огороде. Как же бесправна её и посмертная участь!

Сентябрь, 2015

Вася-предтеча

В те годы, когда колбаса на прилавках была вкусная, мясная, у нашего магазина установили стенд. С большой деревянной рамой. Со стенда в чёрно-белом обличье понуро глядели на прохожих красавчики. Асоциальные элементы, обречённые на казнь общественного порицания.

В школе тоже висела подобная рама, под стекло которой втискивали, как в смирительную рубашку, неисправимых шалопаев.

Районный милиционер, прозванный за африканские пигменты на лице Копчёным, активно принимал участие в родительском комитете и почти жил в школе. Без фуражки и ремня, в широких галифе, он только и вертел головой, ища беспорядок. Двигался стремительно, правым ухом вперёд, поставь перед ним столб – врежется. Забегал в туалет с расстёгнутой кобурой фотоаппарата, ставил курильщиков к стенке и шлёпал вспышкой.

Попал в объектив и я. И впал в отчаяние! Призывал богов и джиннов, чтобы моя фотография на стенде не состоялась. Ведь это такой позор – висеть в коридоре, безвольно, пристыженно, будто с тебя стянули штаны.

Копчёный будто не понимал, что дети могут переживать. Они были для него, как классовые враги, и с ними надлежало нещадно бороться.

Образ милиционера преследовал меня. Как при болезни вертиго, витал то справа, то слева. Бил крыльями от небес, жадно клевал в ночи мою печень и отлетал с визгом: «Исключим из школы!»

Но джинны услышали мои молитвы.

То ли бросили щепоть молнии в ночное окно Копчёного, то ли срочно отправили в туалет его бабку, страдающую циститом, и та, свистя от нетерпения, включила в горнице свет, – погубив тем самым вожделенные плёнки, где под кровавой лампой в родильных водах проявителя рождалась моя просящая полуулыбка.

Школа школой, это внутренний мир. Но учинённый Копчёным стенд на центральной улице стал голгофой!

Ещё бы! Если мужик тащит через посёлок украденное бревно, то он семьянин. Его даже в пример ставят, мол, вот добытчик! Однако если мужик с этим бревном попадётся, то всё. Он – вор!

Уважаемый пенсионер дядя Миша, в прошлом пожарный, до гроба потерял авторитет у местных старух, когда его печёное лицо с потерянными глазами поместили на стенде с надписью: «Воровал во дворе магазина деревянные ящики».

Печатное слово в те годы, пусть даже коряво написанное чернильной ручкой, но всё же от руки власти, имело решающее значение.

Особенно такое: «В субботу мукосей хлебозавода № 3 Нечаев Василий подглядывал в банное окно за голыми женщинами!»

Вот это да!

Вот это обвинение!

Прохожие облепили стенд. С фотографии на них смотрел (возможно, последний раз в жизни) плюгавый человек с узким, как гороховый стручок, лицом.

Впрочем, среди негодующих были и сочувствующие. Ведь с таким обвинением одна дорога – на чердак, к намыленной верёвке, к прочным стропилам…

В посёлке наступила двусмысленная пауза. Ведь в субботу в бане перемылись все женщины околотка. Все до одной! И как им теперь быть? Всех, негодяй, видел, всех рассмотрел!

Юницы, проходя мимо стенда, гордо и с презрением вскидывали головы. Замужние женщины испытывали вину перед собственными мужьями, иные даже подумывали броситься с раскаяньем в ноги. Сами мужья хотели мукосея отдубасить. Но больше всех пострадали старухи, что сидели днями по лавкам у ворот.

Когда лишь узнали, чем мог грозить им Вася, лазая в непосредственной близости по стеклу, то разом в целомудренном ужасе заткнули подолом пах: свят! свят! свят!

Это ж надо! Всю жизнь с одним, царство ему небесное! Прямёхонькая, как линеечка, чистая. А тут прыщ с грязным оком! Тьфу, тьфу, тьфу! Вставали и с брезгливой чопорностью спешили за кумганами.

А что же сам Вася?

А Вася был мукосеем! Ему было не до стыда. Всю жизнь он таскал на плече тяжёлые мешки с мукой, поднимал на этаж и вытряхивал в прорву. Весь белый, насквозь, до третьих пор кожи, пробитый мучной пылью, – непробиваемый!

Надо сказать, Васю в те дни, хихикая, поддержали подростки. За эту вот бесшабашность, за прочие его мудрёные куролесы.

Вася сам шалопаем закончил восьмой класс, и хотя считался лучшим в кружке ИЗО, у него не хватило запаса бездарности неделями рисовать один и тот же кирпич, который мэтр ставил на подоконник, а сам уходил курить и возвращался часа через два с красным носом. Вася срисовал кирпич в полчаса, куда красивее, чем на подоконнике. Тогда оскорблённый мэтр сказал, что нет у Нечаева жилки, нет тех великих 95 процентов труда, о которых говорено и говорено со всевозможных творческих президиумов, – словом, у Васи нет упорства и настойчивости, как, например, у Петрова, как, например, у Сидорова, которые в поте лица, повинуясь закону 95 процентов, рисовали-рисовали всю неделю и, как положено, выдали кирпич, ровно на 95 процентов на него похожий.

И вот уже более двадцати лет Вася работает мукосеем. Ноги его от напряжения искривились, стали колесом, мозоль на плече превратилась в панцирь, и могла на зависть фракийцам выдержать касание римского гладиуса, а то и сельдеобразной фалькаты, которой рубили в азиатских походах хоботы боевых слонов.

Ежедневно Вася выходил с хлебозавода на обед с горячей буханкой под мышкой, садился на траве у пивной. Подростки подавали ему гармонь, ложась на траву, щипали хрустящую корочку. Вася от удовольствия переминался с ягодицы на ягодицу, играл есенинскую «Над окошком месяц». С нежностью слушал меха, выпускающие жаркий июньский воздух, и выражение лица его при этом становилось нездешним, райским. Играл он «Славянку», и про трёх танкистов, и про лётчиков.

Но коронный его номер – болеро Равеля. Жуткое и долгое болеро Равеля. Все, кто слушал, уже знали, что это болеро служило условным радиомаяком для американского пилота, ведущего самолёт с атомной бомбой на Хиросиму. Мукосей играл болеро мучительно, тяжело и долго, так что мучная пыль на его плеши от пота превращалась в тесто…

Обычно после рабочей смены Вася отмывался в цеховом душе и шёл в поселковую библиотеку, что находилась дверь в дверь с винным магазином.

В библиотеке рассматривал репродукции средневековых живописцев, а после отправлялся сравнивать их с живым материалом.

Когда открывалась изнутри дверь библиотеки и бросала во тьму, на грязный тротуар, жёлтый коврик, никто бы в выходящем человеке не узнал Васю. Лицо его было строгим. Это был уже не разгильдяй Вася, а Мефистофель – с бледным горбоносым профилем, будто его вырезали из белой бумаги на Арбате.

Боязливо, как италийский анатом, рискующий соскользнуть в инквизиторский костёр, Вася взбирался на банный подоконник и вновь проникал в запретное – в освещённое яркими

плафонами царство голых тел, где в глухих воплях, грохоте шаек женщины неистово натирались мочалками, изгибали крепкие поясницы, задирали на лавки бёдра, – и находил, что великие мастера прошлого сумели-таки показать в женщинах характерное. Но всё же…

Здесь, в бане, он видел не продажный блеск натурщиц, которых не один художник мял, прежде чем взяться за кисть, а – целомудренные, лишённые стыда и пляжного такта особи с натуральной, а не вмазанной пропорциями масла силой в мышцах. Здесь парились, обморочно выходили из дверей с багровыми телами, опрокидывали на себя каскады ледяной воды – предвестницы матриархата!

Насмотревшись, Вася спрыгивал с подоконника и шёл к кирпичной трубе в пять охватов, возле которой лежали горы каменного угля, топливо для бани. Там, в развалах антрацита, уносящего в чёрную древность, Вася блаженно задирал голову к макушке трубы, плывущей в облаках, и предавался сладким грёзам.

Там и прерывал его мечтания Копчёный.

С группой дружинников приводил в красный уголок, с горшком фикуса и бархатным знаменем вдоль стены. Долго смотрел на мукосея с омерзением, переходил от одного края длинного заседательского стола к другому. И, наконец, с любопытством оглянув дружинников, спрашивал:

– У тебя, Нечаев, что, жены нет?

– А вы что, на других женщин не заритесь? – независимо отвечал мукосей, всё ещё поглощённый своими мыслями.

– Я в банях не подглядываю.

– Мне нужна красота.

– Ты что, Леонардо да Винчи?

– Нет. Но мне кажется, что я не меньше его в женском теле понимаю?

– Ух ты!

– Я чувствую женскую кровь, – сказал Вася почти шёпотом.

– И потому на антраците занимаешься онанизмом?

– Это сакральное. Чтоб постичь большее, подняться на высоту, которую нам Бог не дал.

– А не свихнёшься с такой высоты?

Копчёный не был бы тем Копчёным, если не организовал Нечаеву встречу у психиатра.

– Вы чувствуете такую патологию, что можете на улице наброситься на женщину и изнасиловать? – спрашивала в кабинете своего учреждения тучная женщина в белом халате, внешним видом и высоким кокошником на голове больше напоминавшая буфетчицу.

– Нет, это невозможно, – отвечал мукосей.

– Докажите.

Мукосей нервничал, мелко-мелко ломал пальцами спичку:

– Путём долгих наблюдений я установил, что на земле, по крайней мере в нашем посёлке, зарождается матриархат. И берёт он свою силу за счёт красоты. Красивых женщин всё больше.

– Интересно.

– А мужики вымирают, – добавил мукосей.

– Это мы и без вас знаем.

– Знаете? Конечно, знаете! И про цирроз, и про инфаркт. И про то, что просто замерзают на улице. Сам прошлый год Чапурина на санках привёз. Ещё бы немного – и конец, а так хоть руку ампутировали. Но это не то! Вот смотрите… В мукосеи из мужиков никто нынче не идёт, остался один я, хотя шкелет шкелетом… Мужчины теряют тестостерон, а женщины крепнут. Вот в чём перемена века!

– Ну и что? Кто виноват?

– Природа! Вот пойдёмте в женскую баню, где сняты наряды и чулки. Какая там сила, красота. Это будущее!

– Да где ж там красота? – пошутила врачиха. – Все в мыле, а в волосах простокваша.

– Вот именно простокваша! Вот именно кислое молоко или битые яйца! Имеющий глаза да увидит, – с обидой посмотрел на неё Вася.

– Вы прямо Тициан! – сказала врачиха.

– Нет. У Тициана с анатомией плохо.

– Что, он вам экзамены по анатомии сдавал?

– Экзамены не сдавал. А вот бабы у него рыхлые. Угасающий род. И потому в то время реванш взяли рыцари.

– Скорее он Дарвин, – нагнувшись к столу психиатра, разгладил свои тёмные пигменты Копчёный.

– Дарвин? – спросил мукосей. – Дарвин устарел. Тут сечение женских мышц нужно исследовать. Где ни меньше, ни больше, но сплошная гармония. А развитие теории Дарвина приведёт в формации женщин-горилл.

– Вы предлагаете лаборатории, как в СС? С этой самой линейкой?

Психиатр подняла голову в сторону Копчёного, чтобы тот приблизился.

– Лазить в баню он не перестанет, – сказала она тихо. – И если б он просто считал себя Тицианом… Он опасен как потенциальный маньяк. Скоро начнёт по закоулкам вылавливать женщин, исследовать сечение мышечных волокон.

Копчёный понятливо кивнул.

– Бережёного Бог бережёт, – сказала она, – полечим. Впрочем, эффект будет непродолжительным. У него сильно развито либидо.

– Значит?..

– Значит, – сухо ответила врач и, склонясь над бумагами, стала заполнять историю болезни Нечаева.

3 октября, 2013

Энже

Они были знакомы заочно, по брачному объявлению.

Невысокий кавказец, в узорчатой шапочке теремком, – чтобы прибавить в росте, – он ждал её у киоска.

Подошла она – высокая, худенькая, в белом вязаном колпаке в виде плошки, из-под которого падали на плечи длинные светлые волосы.

– Здравствуйте, я – Энже, – склонилась робко.

Он задрал голову, посмотрел ей в лицо – и вдруг понял, что она – его раба. Прошёлся, заложив руки за спину. Он был поэт, и ему нравилось её имя с мягким тюркоязычным «ж». Лёгким, как пушинка, фюить – Энже…

Он ожёг её орлиным взглядом:

– Хотите, значит, осчастливить мужчину? – Он отчётливо, но с акцентом выговаривал русские слова. – Вы хотите?!

Энже грустно улыбнулась:

– Вообще-то да… – и ниже опускала голову.

– Вот ключи. – Он вложил в её тёплую ладонь связку, назвал адрес. – Езжайте, а я буду через полчаса.

Она приняла ключи, посмотрела на него… и поехала.

Он прошёл в подъезд. Наблюдал за ней из окна, сопоставлял на примере прохожих мужчин её рост с собственным… Затем зашёл в гастроном, купил банку маринованных помидоров и поехал следующим автобусом.

Она открыла ему как хозяйка. Секунду они постояли в дверях, как бы оценивая друг друга в новом качестве…

Скинув пальто, он вынул из холодильника коньяк, ветчину, резал мясо ловко, с кавказским умением – и гостье казалось, что он держит в руке горский кинжал. Она сидела в кресле и, стесняясь своих крупных ступней, поджимала пальцы…

Он глянул на этот дефект – и стянул с головы шапочку: он был плешив. Всклоченные волосы плясали вокруг лысины, как на сковородке чертенята. Испытующе посмотрел на Энже…

В ответ голубоглазое личико изобразило вопрос:

– Помочь?

Она, высокая, встала – он, коротыш, мгновенно сел:

– Нэ надо!

А после добавил:

– Мущ-щина должен готовить сам, как настоящий мущ-щина!

Ей нравилось его жилище. И сам хозяин. Мужественно невеликий, с хорошим баритоном и красивым лбом. О мощь его лба, казалось, могли разбиться все её невзгоды. Комната его была отделана со вкусом: розовые шторы, розовый, льющий густую тень двуглавый торшер в изголовье.

Когда поужинали, он сказал:

– Раздевайся.

Она вздрогнула, опустила глаза:

– Я не могу…

Он настаивал.

– Все вы такие… – она всхлипнула. – А ещё поэт!..

– А что – поэты не люди?! – Он взвился. – Если хочешь знать, поэтам вдвойне надо. Больше всех надо!

Он вскинул в отчаянии руки. Казалось, чертенята вокруг его плеши тоже схватились за рожки.

– Прости, – сказала Энже. – Потуши свет.

Она разделась и легла. Он устроился рядом, включил торшер. Лежал с закрытыми глазами, не в силах пересилить обиду, – и ждал ласку. Но Энже была оскорбительно неподвижна.

– А ведь на улице я спросил, – в конце концов сказал он, – хочешь ли ты сделать мужчину счастливым?

И нарочно не шевелился…

Тогда она робко положила на его грудь руку, дружественно произнесла:

– Ты любишь ездить в туристические походы?

Сквозь стон он стиснул зубы. А когда открыл глаза, увидел её руку. Освещённая торшером, рука лежала на его груди и была сплошь, от запястья до локтя, покрыта чёрными клоками шерсти, как у оборотня.

Он закричал так страшно, что Энже зарыдала.

Сидя на полу, он дико косился на её руку. Теперь шерсть на ней отсутствовала. Едва угадывался лишь нежный золотистый пушок у локтя, который и дал от сумеречного торшера такую зловещую тень.

…Кроме того что она неуклюжа и неумела, он обнаружил, что она девственница, и удивился.

– У меня отец пьёт. Продаёт мои вещи, а меня обзывает дылдой, – призналась Энже. – Говорит, что я никому не нужна. Я хочу замуж…

Он глядел в потолок. Сказал хрипло:

– Посмотрим.

На другой день он должен был позвонить ей на работу.

«Ну и пусть маленький. Наполеон тоже был ниже Жозефины», – думала Энже. Она вспомнила его широкие плечи, по-кавказски узкий таз, коротко семенящие ножки и сияющий монастырь лба.

– Двуглавый Эльбрус ему в задницу! Нет… Целый пятиглавый Биштау! – ругал он вчера её отца.

Он ходил по комнате, обёрнутый в простыню, как Цезарь в тогу. Её Цезарь. Она готова была носить его в этой простынке, как ребёнка.

Целый день на работе ждала звонка. Не в силах удержаться, обо всём рассказала подруге.

Было без четверти пять, когда телефон сотряс комнату. Подруга глянула на Энже с надеждой…

Одетый в пальто сотрудник поднял трубку, улыбнулся и положил её на стол:

– Энже, тебя. Какой-то мужчина! – подмигнул и вышел.

Энже сделалась ниже ростом, когда подходила к столу.

– Тенгиз!..

– Это я… – узнала она голос отца. – Заплати сегодня за свет. Если хочешь, чтобы проводку не обрезали, – сказал отец злым от трезвости голосом. – И какой ещё Тенгиз? Я же говорил: кому ты нужна, дылда!

Потом Энже сидела верхом на стуле и содрогалась от плача. Плач её был похож на писк.

Подруга в отчаянии смотрела на её покрасневшие уши, хрупкую спину с проступившим позвонком. И, поднося к её голове руку, ничего не могла придумать нежней и ласковей, чем это чудное имя:

– Энже, Энже, Энже!..

1990

Материн гостинец

«Надо же, хлеба нет! Дожили! Хоть бы пряник какой – супу с толком пожрать!» – недоумевал Сашка, вернувшись с работы.

Уже неделю стояли крещенские морозы. Хлеба в магазинах не было. Говорили, сломалась мельница.

Сашка, мужичья плоть, без хлеба есть не садился. Без хлеба хоть кастрюлю щей наверни, всё – как в прорву. И вот мечтал о прянике, хотя сладкое не жаловал. Ещё недавно мать приносила ему пирог с яблоками, толстый, пористый, – так и не научилась по-интеллигентному тесто катать; с войны, что ли, любовь к муке?..

– Ещё раз принесёшь, выброшу, – в который раз предупреждал Сашка, жалея мать. – Ведь всё равно сладкое не ем!

– Как же, сынок?.. Это ж пирог!.. – отвечала виновато.

Сашка сожительствовал с Любкой, соседкой. Любка была ленива и нигде не работала. Раскинув ноги на кровати, глядела в потолок:

– Мужа иметь нынче глупо. Варить, стирать!..

Сашка работал бурильщиком. Приходил поздно. Любка выпивала, иногда дома не ночевала. Говорила, что была у подруги. Однажды вернулся измождённый, ни пожрать, ни согреться. В злобе написал пальцем на пыльной крышке телевизора: «Дубина, вытри пыль».

А вечером, придя с работы, читал: «Дубина, вытри пыль».

Сегодня Сашка был на ремонте. Пришёл обедать домой, прогнал Любку за хлебом к хлебозаводу, где из окошечка иногда торговали. Любка сходила, принесла… новость: хлеб жмёт мафия.

«Гады! Спину гнёшь, весь чёрный от работы, а тута…» – скрежетал Сашка.

Полмесяца назад скончалась мать. С утра занемогла, слегла на соседней койке напротив отца, разбитого параличом (они жили у младшего брата). И вдруг, сердечная, позвала детей, сказала: «живите мирно», – и скользнула по лицу её тень, как от облака в поле…

После похорон сидели у брата. Молча. Столы уже убраны. Решали, как быть с отцом. Невестка уставила покрасневшие глаза в угол: за тестем убирать она не будет!

И вдруг за дверью дико закричал отец. Кинулись в комнату.

Выпроставшись наполовину из-под одеяла, отец упирался о локоть. Другую руку, как приржавевшую саблю, пытался вырвать из-под бока…

– В дом старости мя! – трясся с пеной у рта. – В дом старости!..

Сыновья выносили его на носилках, виноватые и притихшие, словно боялись получить подзатыльники. Родитель, полулёжа, молча и зло указывал путь – тыкал клюкой в пружинящие двери. Эх!..

В животе урчало.

«Хоть бы пряник, хоть бы пряник. Пряник бы!..» – дурел Сашка.

Он решил слазить на хлебозавод.

– Сашк, а помают?

Любка тоже хотела хлеба.

– Не боись… – Сашка, одетый, сузил глаза и вышел в сени. Любка, полуголая, сорвала с вешалки вторую авоську, выскочила следом. В морозном пару натолкнулась на Сашку…

– Цыц, курица!..

Глаза у Сашки были мокрые. Он смотрел на верхнее оконце в сенях. Там, на подоконнике, в заиндевелом газетном свёртке (Сашка вспомнил) лежал яблочный пирог, толстый, щедрый, – последний материн гостинец…

1989

Костры

Упаси, Господи, от старческого маразма и назидательности.
Н. Гумилёв

1

И всё же они были милей, наши девушки. Нынче гламурная гостья отличается пониманием жестов холостяка – раздеться и лечь. Кружевное бельё – признак смекалки. Не то что в былые годы, когда на комсомолке обнаруживалась пара ужаснувшихся рейтуз, одетых лишь для тепла. Или пропитанная честолюбивой испариной молитва в глубине лифчика – свёрточек, прилипший к коже, да ещё страх, цепкость пальцев, судорожность движений, далеко не голливудских.

Оно как-то не манит, когда бельё красивей тела, не несёт в себе загадку чужого быта и мирка. И холодит душу от вида ледяных кружев, будто они одеты на манекены с январских витрин. Девичьи таинства сквозят в прозрачных узорах, как охлаждённое мясо птицы. Не вскрикнут бережёным жаром, не огрызнутся алым рубчиком на коже от тугой резинки…

Ныне девицы выходят на подиумы – мосластые, злые, идут, вскидываясь, как кощейки на верёвках. Развернутся и глянут, будто хотят убить. А то, наоборот, на телеэкране – лежат полуголые в позе жаб, в лживой страсти потеют глазами – выманивают у подростка денежку: по-звони!.. И веришь Чехову, что вместо лёгких у них жабры.

А может, ты ошибался всю жизнь? И женщины вовсе существа не из другого измерения, а те же особи, только самки, с мелкими и недальновидными воззрениями, мстительные и алчные? Мечтающие о денежном мешке или похотливом орангутанге? Третьим вообще мужчина не нужен, и в ласках они не то что холодны, – они давно уже замужем – с двенадцати лет, но мужья их – всевозможные гномы, разбойники или артисты, которые так романтично насилуют их в грёзах, привязывая к деревьям, к колесу телеги…

Однажды ты обнаружил себя обкраденным. Любя, жаждая и получая вознаграждение, прежде ты думал, что только тебе доступно это чудо, вручено жгучее счастье, что люди об этом не догадываются. Вот они спорят и ругаются за стеной, считают мелочь за окном, покупают газеты, едут на работу… А ты испытываешь только страх, что они вот-вот опомнятся, ужаснутся твоему эгоизму, вернутся и отберут твоё счастье.

Соитие перестало быть сакральной тайной. Теперь твою женщину раздели и выставили напоказ. Её насилуют и заставляют перед камерой делать невообразимое. И ты всё это терпишь, беспомощный, жалкий, придавленный грудой цепей новой свободы.

Новые названия заменили то ёмкое, содержательное, сдирающее все покрывала, как откровения Теофиля Готье, – слово. Его и произнести-то было нельзя: так могущественно табу на него! Это слово намолено, как языческая скрижаль, усилено стыдом предков, ужасом отроковиц, тайным зверством юношей… Оно до того пронзительно и постыдно!.. Этого слова порой боится мужлан, но может выкрикнуть стыдливая женщина, – в забытьи, в угаре, первобытном, пещерном, где оно, очевидно, в свете костра, и родилось… И теперь какая-нибудь буфетчица с телеэкрана учит тебя жить, пытается протолкнуть тебе по дешёвке отнятый у тебя же сокровенный товар. И легко называет это слово «сексом», будто это семечки.

Куда всё делось? Где этот взгляд, дрогнувший и ужаснувшийся тому, чего от неё хотят – что в ней вызывает страх, видение карающего костра, щипцов инквизиции? Где воображаемая линия ноги, скрытый крепом юбки бесстыдный изгиб бедра?

Или у нас – как у дикого африканского племени, где у женщины обнажена висячая грудь, которая столь же эротична, как её пятка?

Где тайная сладость поцелуя?..

У метро девица жуёт жвачку и смотрит от скуки, выдувая шары, как другая жуёт такую же жвачку – смачно выдувая, губа к губе висящего на подтяжках, одурманенного наркотой партнёра.

2

Ещё в памяти жертвенные костры. В детстве в библиотеке деревни Именьково ты случайно наткнулся на книгу «Спартак», с толстой обложкой и удивительными картинками, – книгу, чудом сохранившуюся в татарской деревне, потому что в русскоязычной её давно бы украли. Читал запоем, сдерживая восторг, останавливался и заново пробегал страницы о поединках на аренах амфитеатров, о сражениях с римскими легионами.

Ты был восхищён гладиаторами, их мощью, храбростью и красотой. И рыдал, рыдал громко в саду над возгласами Крикса, погибающего в засаде: «О Спартак! Ты не можешь мне помочь!»

Ночью с Криксом и Спартаком ты мылся в тесной бане, они обмахивали тебя пушистым берёзовым веником, легко передавая из рук в руки, а после вынесли и усадили в предбаннике.

Ещё, когда босые, ты и Спартак, шли к Криксу, сзади ты любовался фигурой дяди в узких плавках, будто в набедренной повязке. Его мышцы, освещённые полумесяцем, выступали круто, бугристо, будто лужёные лунным припоем доспехи. Он нёс пудовые плечи, чуть вывернув их вперёд и, склонив русый ёжик, неторопливо, будто шёл по стеклу, сокращал свитки буйволиных мышц на ляжках. В предбаннике гладиаторы пили чай и тихо беседовали, ты по очереди щупал их равнодушные бицепсы. И удивлялся детским умом, как угораздило их, победителей Сабантуев, родиться здесь на одном берегу, в одном дворе. Нежная соседская дружба отличала их. Позже, изучая историю, ты всегда думал о них, что именно такие угланы в схватке с несметными полками не сдали Казань, свою веру и вековые обычаи, – всё унесли с собою в леса и сохранили до наших дней.

Спартак был копия Кирка Дугласа, сыгравшего предводителя восставших гладиаторов: светлые глаза и русый ёжик, у него даже кожа была как у артиста – белая, не принимающая загара. Крикс же был ниже ростом, но шире в плечах, на грудь можно ставить рюмку с вином – не упадёт. И если уж брать для сравнения образы знаменитых артистов, Крикс напоминал Алена Делона – такой же синеглазый, бледнолицый, с чёрными волосами…

В то лето между двумя деревнями произошла драка. Парни из соседних Черпов на мосту избили двоих именьковских. Те бросили клич и пошли, отроки с кирпичами и дрекольем сзади. Черповские собрались и грозно скрылись в ночи: невесть откуда жди удара.

Во тьме шли полем, быстро и целеустремлённо. Сзади, не помня себя от героизма и страха, бежали мальчишки, спотыкаясь о кочки, с размаху пластались, отшибая оземь ладони. Вот и Черпы. Тревожно подрагивает свет перед клубом. Стрекот сверчков. Спартак со своим ёжиком, влитый в новый костюм, был изящен, он шёл с дамой под руку в клуб – в стан врага: в случае нападения принять бой и оттуда, из клуба, свистнуть. «В клуб, один? Ведь там полно народа! А если затопчут?..» Нет. Отшибая кулаки кулаками – свистнет: завернёт стальную губу и рывком лишь опустит грудь…

В клубе оказались только женщины и подростки…

Другая группа именьковских вояк ушла искать неприятеля к речке. И возле церкви нарвалась на град камней. С колокольни, с крыши полетели заготовленные кирпичи. Толпа рассыпалась, появились раненые. В темноте, хоть глаза коли, мальчишки с яростью выдирали из земли снаряды и подносили взрослым. Булыжник с шумом человеческого рывка вылетал

из-за плеча, как из катапульты, и, вращаясь, будто комета, уносился в сторону осаждённых. И в темноте, где жестью мерцала крыша, грохотало, будто катился по небу гром.

Рукопашная не состоялась. Но случился конфуз. Кто-то крикнул: «Черповские пошли по домам, собирают мужиков. Выйдут матёрые мужики!» И пацаньё в ужасе кинулось бежать! Не видя дороги, через хлещущий в лицо бурьян, кочки и невидимые ямы, ломающие позвонок. Ужас поджаривал пятки. (Так проигрывались великие сражения.) Добавили страха два яростных глаза появившегося за спиной трактора. «Это они! Догоняют!..» Но оказалось, что трактор – свой. Погрузились в кузов, помчались. И стыдно и спокойно стало, когда увидели возле клуба мирно стоящих Спартака и Крикса. Какой-то парень, одетый по моде, с бляхой на низком бедре клёшей, в широкоплечей рубахе, увещевал Спартака и Крикса: «Бросьте, ребята! Что вы с ними не поделили? Набрали вина, выпили, и мир!..» Сзади него мой троюродный брательник, ещё юнец, держал в руках ствол молодой берёзы. «Огреть?» – спросил он, намекая на черепушку увещевающего миротворца. Крикс чуть повёл головой: нет. Не понимая чужого языка, парень и не заметил, что ему грозило, всё продолжал уговаривать своим хмельным, впрочем, приятным юношеским баском.

– Дай пять! Меня зовут Женя…

Руку ему не подали.

Так и ушли: черповские с церкви слезать не собирались.

С тех пор прошло больше сорока лет. Мир изменился.

Спартак состарился и спился. Страшно отощавший, с красной, будто опалённой кожей лица, он шагал впереди в синей спецовке с короткими штанцами, отчего был похож на мальчишку. У него портилось зрение от одеколона, который он употреблял.

Боже, как меняется плоть! Кто поверит, что этот немощный муж когда-то был гладиатором, гордостью и защитой деревни?! Кто поверит, что где-то из-за какой-то облезлой старухи сохли парни в пол-околотка. А ведь сохли!

Говорят, чуда нет. Есть чудо. Время.

– Не пей ты этот одеколон!.. Ослепнешь!

– Почему? Этот специально для питья делают. – Он вынул из кармана флакон с остатками зеленоватой жидкости. – Смотри, какое горлышко большое. Это чтобы наливать было удобней.

– Пойдём, Самат-абый, я куплю тебе водки. Хорошей водки! А, дядя?!

Слово «дядя» ты произнёс с чувством.

– Какой дядя? Я тебе брат.

– Как? Ведь ты старше на…

– Твой дед и мой дед – родные братья. Сын твоего деда – твой отец, сын моего деда – мой. Мы братья.

Странно, ты об этом никогда не задумывался. Брат…

Ты брал грех на душу. Предлагал водку вопреки предупреждению его супруги, преподавательницы математики, не покупать ему спиртное. Но ведь всё равно он будет пить этот проклятый одеколон! К тому же тебе доставляло удовольствие сделать для него приятное: воспоминания детства ещё не истёрлись в памяти.

Ты хорошо помнил и его деда. Бородатая голова, как кудель шерсти, – с палкой в руке, согбенный, но быстрый, он входил в ворота с походным мешком за плечами, частый гость в вашем доме. Он выманивал у тебя щенка. Сидел у печи в рубахе навыпуск, опираясь о посох и улыбаясь, о чём-то ласково баял. Вернее, он говорил, что смастерит собачью будку, под яблоней, где тень, настелет в будку солому; собаку будет кормить варёной картошкой, мясным бульоном. В ответ ты улыбался и не понимал, чего хочет дедушка. А он говорил ещё о самосвале, железном, зелёном, ручку которого крутишь, у него поднимается кузов, этот самосвал ведь дороже пса… Он опять щурил глаза и ни о чём не спрашивал, а ты только хихикал, живо представляя яблоню, будку под ней и чью-то собаку… и дед, наверное, думал, что ты мал да

хитёр. Но если б до тебя дошло, чего он хочет, ты бы всё равно не отдал ему, пусть даже за самосвал, своего дружка, щенка немецкой овчарки. Хотя сейчас понимаешь, как нужна, как недоступна была в деревне на ту пору такая собака.

– Как зарплата? – спрашивал ты у Самата.

Вы шли в сторону шоссе, за которым простиралось Камское водохранилище.

– Колхоз разграбили, платят гроши, и те с опозданием на три года. Вон наши деньги! Он обернулся и вяло махнул рукой в сторону околицы, где на новых площадях возвышались коттеджи местного начальства.

– Сжечь их к чёрту!

– Посадят…

– Как живут двойняшки Зиннатулла и Зайнетдин?

Вспоминалась картинка, словно из доброй сказки: опушка леса, два деревенских малыша собрали для малыша из города полную банку земляники, поднесли: «Ешь», – смотрели и улыбались.

– А ещё Рафаэль, братья Нурислам, Хайдар, Камиль?

– Зайнетдин умер, – отвечал Самат. – Рафаэль погиб. Мешал палкой жидкий битум, опора ушла из-под ног, опрокинулся прямо в чан. Да… Нурислам отсидел за драку, пьёт где-то. Весной приезжает за рыбой. Хайдар в городе. Камиль построил дворец на берегу Камы. Сегодня идём к ним, тебя ждут…

Все перечисленные – твои братья. Камиль – младший, Хайдар ровесник, с ним ты закапывал в прибрежную глину человеческий череп. Тогда, в семидесятом, стояла страшная засуха, горели леса, погибали посевы. Местный старец сказал: на берегу, под старым кладбищем, валяется череп. Пока его не придадут земле, дождя не будет.

Череп вы нашли и закопали. Но дождя так и не случилось. В то лето погибло много лесов по всей России.

Взяв в магазине водки, вы прошли к берегу Камы. Самат налил, выпил, понюхал голову воблы.

– Одеколон крепче, – сказал он, морщась, – с него душистый кайф.

Прибрежные волны, набухая на отмели, буро мутили глину. Вдали, за штрихами водяных бликов, кильватерной колонной шли суда.

– Погоди, а Горка жив?

Три русских двора стояли на отшибе деревни Именьково. Горка-книгочей оттуда. Большеголовый рахит с крошечными ступнями, вечно обутыми в калоши, он будто и сейчас стоит у клуба: широко раздвинув носки и заплетаясь языком от возбуждения, вещает о возможностях «Мессершмитта-109 Е», о подвиге линкора «Бисмарк»:

– Если б не попадание торпеды в руль, он бы все английские линкоры переколбасил! – Горка чуть не плачет. – «Бисмарк» развернулся и один в атаку на целый флот пошёл!..

– Горка-то? – сказал Самат. – Жив.

И тут ты вспомнил о Криксе, великолепном Криксе.

– Рамазан… – Спартак помолчал. – Он повесился.

– Как?!

Спартак глянул в даль.

– Дочь у него в городе забеременела. Ушёл в лес и пропал. Нашли его на третий день. На осине.

– Слушай, это невозможно… Это же национальная потеря!..

Долго молчали.

– Я был на кладбище, деда искал, твоего деда. Там у входа могила девушки. Кто она?

Новое кладбище, которое тянулось вдоль обрыва, густо заросло сиренью, особенно в середине. Приходилось телом наваливаться на кусты и просто подтягиваться, зависая над землёй. Могилы ты не нашёл. Выходя, обратил внимание на серый камень у самых ворот, на весёлом солнечном пятачке. В камень была ввинчена овальная цветная фотокарточка, забранная в стекло. С фотокарточки смотрела красивая девушка. Русые волосы и очень выразительные на фоне муравы и листьев зелёные глаза. Очень живые, очень зелёные, мерцающие изумрудной глубиной. Казалось, что они играют на солнце тем же натуральным блеском, что и живая листва. Ты смотрел на фото с глубокой грустью, печалью очарованья. И не верилось, что этой девушки уже нет, тем более что она – под землёй, вот здесь, у твоих ног, – та, что смотрит на тебя таким живым взором.

По датам ей едва исполнилось девятнадцать.

– Это могила, которая у входа? – спросил Самат. – Та же история. Внебрачная беременность. Не выдержала позора.

– Она тоже – как Рамазан?..

– Нет. Отравилась. Умирала у матери на руках.

Самат посмотрел на тебя выцветшими глазами, в которых ещё мерцал огонёк вашего отживающего рода:

– Кстати, она тоже твоя сестра.

Тело обдало нежным жаром. Снова ожил в памяти мягкий овал лица и эти живо глядящие на муравy глаза. *Сестра…*

3

Может быть, правы те, кто стонет с телеэкранов – зовёт? Они зовут в жизнь, и убийственный взгляд с подиума – как самоутверждение? Разве они будут пить яд? Нет! И правильно сделают.

Но Рамазан, эта девушка, семь девиц… Семь изнасилованных стрельцами сестёр погубили себя в озере на окраине Казани, там их могила. Туда ходят тысячи людей. И почти каждый задаётся вопросом: как смогли разом? И никто не смалодушничал перед смертью – ведь девочки! Не меньшим ли самоутверждением веет от этого семикратного взгляда из прошлого?

С Камы потянул ветер. Вдали, по черте берега в опустившихся сумерках зажигались костры. А затем такие же костры вспыхнули на потемневшем горизонте, где угадывался фарватер, – много костров; загорелись в несколько этажей, двигались вправо и влево, мигали, будто о чём-то напоминали нам, живущим…

2010

Мизантроп

Не стал бы Иван за жизнь свою спорить, торговаться, если б за ним пришли с винтовками да с весами. Кинули бы её, эту жизнь, как кулёк, на весы, на тарелочку, а с другой стороны бросили бы грош. И перетянул бы грош. А его повели бы к оврагу. Двое сзади, один спереди – в кирзовых сапогах со сбитым каблуком, в линялой гимнастёрке, ленивый и вялый, у которого после расстрела казённый обед, картошка там, пюре, серое от грязи, или перловая кирза, да ещё скумбрии копчёной собственный кусок, завёрнутый в газету, или ещё что. И душа тосковала бы только от лени, что идти надо вот, квёло шагать по гальчатой насыпи, нагретой солнцем, ползучей, к недалёкой опушке, где по склону растут травка да лютики. Стал бы, опутанный вервью, спиной к обрыву, хмуро глянули бы на него молодцы, тронули бы затворы. И от их лености и своего безразличия пришлось бы Ивану, Колчаку уподобясь, строить их, нерадивых, прицеливать на себя и приказывать бой. Да и то скучно…

А хотелось бы ему, чтоб с испугом, с прощанием, с щемящей болью и жалостью к себе. Но где её взять? От барабанного боя, набата колокольного, от самого действа, неотвратности, да хоть от глаз палачей жути испить. Чтоб прослезилась душа, взбрыкнула, с глаз сошла пелена, и учуять, как в детстве, смертобоязнь, узреть траву, солнце, а потом, жалей – не жалей, раз сторговался – кончено! А скумбрия – это реальность, когда так хочется палача! Представишь в его кармане рыбку, усохшую, с налипшим табачком, да в газетке с физиономией какого-нибудь холёного дяди, у которого хороший аппетит и, возможно, сильно потеют ноги, – представишь другую жизнь, жадную, сильную, и вот тогда, быть может, поведёт от чувствия кадычок…

А ещё, хоть у Ивана и не спрашивали, не хочется ему в тюрьму на долгие годы. Нет, не из-за напастей тамошних, а чтоб не мелькала толпа каторжан с бритыми бугристыми черепами, готовых глаз тебе вынуть за пайку, и не толкали чтоб прикладами в позвонок конвойные. Не мешали величию отрешённости. Там не только тело, там вся суть твоя будет в клетке. Умрёшь, а мысль всё одно что в узилище будет томиться, в ней запечатлеет лик твой навеки, на тысячелетия, а сама станет жить в тоске, по образу плача, хоть и унесётся сквозняком в форточку, и то, что бренным Иваном останется, будет унижено. И потому лучше принять смерть там, в овраге, возле куста бузины, пусть даже и без могилки; лежать на солнышке, вялиться на ветру. Да и того лучше, чем утрамбуют в темноту, к червям. Уж лучше пусть пробуют на зубок лисицы, травы в себя твои соки потянут, птички вольные поклюют – всё одно о тебе по миру весть. Весть – в усиленном от корма птичьем полёте, в лисьем помёте, а через семя его, лиса, – в зрачке лисёнка, в нюхе его, иногда заполошно о чём-то вдруг вспомнившем – о твоём ли детском испуге, отроческом ли удивлении с изумлённой же девчонкой – в тот миг, когда придушит горячего зайчонка, когда забьётся его плоть.

Чаю попить? Заварить, потом долго отхлёбывать, затем курить, а после мочится за углом под навесом. А потом опять варить чай. Вот и вся ночная смена. Охранять награбленное. Вон собаки кинулись, лают, и, чу, замолкли. Свои же ребята, стропаля, воруют. Лезут через забор на склад ГСМ с канистрами. Собачки видят в темноте силуэты на заборе, бегут, шумят, а разглядят – свои, хвостами машут: здрасте и – простите. Расходятся…

Иван поднялся с кушетки. Заварил чай в фарфоровой кружке, из кружки же и пил, цедил сквозь вставные зубы, обсасывал и перекусывал горькие чаинки. Тусклый взгляд бродил по белёному потолку, краплёному сажей, по стёртой возле стула плоскости стены.

В охранной каморке, занимавшей угол в двухэтажном зданьице из силикатного кирпича, имелось два окна. Одно выходило на оптовую базу, к воротам, которые открывал Иван, другое – на улицу. Смотрело под опорную арку большого шоссейного моста, на кривую ветку железной дороги, которая шла как раз под мостом и дальше – через его базу – в воинскую часть, что повыше, в бывший стройбат, где и теперь, как прежде, солдаты выгружали из вагонов

каменный уголь. Солдаты фиксировали отцепленные вагоны стальными башмаками, ломами выбивали крючки из-под люков – и чёрная россыпь антрацита вылетала наземь из отвисших стальных челюстей, засыпала рельсы и колёса. Тогда подходил «Беларусь» и расчищал, освобождал место для новой лавины. Иногда просто ковшом трактора били в плечо вагона, состав в три вагона от удара трогался: чуки-так, чуки-так – шёл под горку… тут солдат с башмаком обрывал песню, совал башмак под колесо, фиксировал. И не надо было мучиться, расчищать. Вот трактор взревел, дёрнулся, с разбега ударил в бок вагона клешнёй – вагоны тронулись, пошли… но вдруг сменили ноты: чуки-так… так-так-так!.. – застучали резвее. Солдатик, прицелившийся у рельса, как у цевья винтовки, сдрейфил, отдёрнул руку с башмаком, пока её не отрезало сталью. Та-та-та-та! – скорее завращались колёса, вагоны быстро набирали скорость, ударом распахнули стальные ворота, промчались по Ивановой базе, на выезде из неё выбили, как картонки, другие ворота – и уже со страшной скоростью, сотрясая землю, неслись к станции; солдаты, глядевшие вслед, лишь пилотки сняли… А потом на станции раздался грохот да исполинский скрежет, вагоны налетели на стоявший состав, будто древние динозавры забирались друг на друга, судорожно дёргая спинами, давя лапами гадину под собой. И так же мгновенно всё умерло. Установилась первобытная тишь. Лишь от неба, от деревьев и от близстоящих строений исходил отражённый ужас… Никто тогда не погиб, людей рядом не оказалось. Материальный ущерб считали в конторах, а тут, у развилки, комиссия ломала головы: почему неуправляемые вагоны ушли на станцию, а не в тупик, куда в пассивное время обычно направлены стрелки?

Но обернулось в том случае и по-иному… Тут, на оптовой базе, как раз тогда стоял под разгрузкой вагон с металлическими трубами. Его выгружали два стропальщика, первый внутри, он цеплял, второй снаружи, он отцеплял, а третий, крановщик на гусеничном кране, выполнял их команды. Тот, что был внутри вагона, стоял в узком погребке, между стенкой вагона и торцами труб, блестящими кольцами на него глядевших. Он под эти кольца подсовывал лом, приподнимал кучку, вгонял туда трос, а после с помощью крана приподнимал… И вот тогда, когда стропальщик, бывший учитель физики, находился между стенкой вагона и торцами труб, – тогда-то и ушли у солдат эти вагоны. Разогнавшись, они поразили стоящий вагон в тот самый торец, где копошился учитель. От удара трубы в вагоне вскинулись, многотонным весом прижались к торцу, и учитель по закону физики весь вошёл внутрь труб – колечками. Так и выковыривали его крючками для морга, чтобы собрали там, как наборное одеяльце, для похорон. И теперь, когда Иван ночами стоит на том пятачке, ему чудится под ногами влага, тёмная, липкая, и начинает болеть грудная клетка, ломит ключицы, пропадает дыхание… ибо был тем стропальщиком сам Иван, бывший учитель физики, пришедший сюда работать восемь лет назад, потому что в школах почти не платили. Но была та смерть мнимой, предполагаемой, ибо тогда разгрузка труб была завершена за десять минут до удара, и локомотив утащил вагон на запасную ветку. Гиблое место. На этом же пятачке, у ворот, однажды при открытии сорвалась с ролика дверь вагона, до головы не достала, но дотянулась до плеча стропаля Сергея, отбила плечо, рука усохла, инвалид стал пить одеколон, ослеп и вскоре умер; а ещё там, у ворот, недавно погиб красавец парень, сын стропаля Метелька; сын был составителем вагонов, стоял с рацией в пустом товарняке и выглядывал в дверь; локомотив неожиданно дёрнул, дверь на роликах поехала и раздавила ему голову; напарник, принявший его на руки, орал в вылезшие глаза; и ещё там, двумя метрами левее, оборвался трос и груз в шесть тонн весом упал за спиной кладовщика Венера, который тут же отпускал рулоны жести. Венер глянул за плечо и продолжал писать, и вдруг – когда дошло – рванул от ужаса в сторону. Если в этой экскурсии пройтись метром далее, можно рассказать, как пачка поднятых краном кровельных листов сорвалась краем с одной удавки, но, вися на другой, пошла кругами, набирая обороты, как пропеллер, разбрасывая острые листы, как лезвия, и стропали поныряли в снег, чтоб не унесло на оцинкованной столешнице головёнки, чиркнув по шее… Нет, Венеру везло, и он был

в достатке, всегда улыбался, полный волжский азиат, но этим летом он поедет в дом отдыха, о котором мечтал целый год, в первый же вечер хватит лишнего, и вскоре его привезут к жене, слоями обёрнутого в погребальную простынку, жёлтого, будто личинку. Но он пока жив, – в ту минуту, как Иван, размотав портянки, моет ноги в эмалированной раковине, в углу которой кружатся выковырянные глазки от очищенного картофеля, Венер ещё жив, он ещё спит и совсем скоро, поутру, они с Иваном свидятся…

По статистике, каждые четыре года на этой железнодорожной ветке уходят вагоны. Но, как обычно, как и о Второй мировой войне, как об эпидемии холеры, как и о пожарной безопасности в домах престарелых, народ как-то забывает, меняются рабочие, начальство, увольняются солдаты, электрики и диспетчеры, приходят вместо них другие, такие же ленивые и нерадивые…

Иван поднялся с кушетки, приоткрыл дверь и вгляделся в темноту. База освещалась лишь по периметру, выступали в темноте корпуса складов, в вышине угадывалась стрела гусеничного крана, на фоне плывущих облаков она будто падала на крышу гаража. Небольшие окна бокса, установленные под крышей, отсвечивали чем-то розоватым, но невозможно было понять, что они отражали: напротив них, и вблизи и вдали, висела сплошная темень. В гараже стояли автопогрузчики и кары, там же рабочие чинили свои легковушки, осенью сгружали самосвалом картошку. Осматривая как-то боксы, Иван пригнулся к стеклу старого «Москвича», при тусклом свете лампочки увидел своё отражение: русые, отросшие до плеч волосы, рваный шрам на щеке, за который дети в школе прозвали его пиратом. Образ его в тёмной глубине, в мистической тонировке, начал преображаться: нос вытянулся в мощное, шерстяное переносье с крупными чёрными ноздрями, торчали листьями мохнатые уши. Это была лосиная голова. Глаза прикрыты в дремотном величии, безмятежно. Звериных голов было четыре, они громоздились на заднем сиденье, и было удивительно, что эти мощные животные позволили себя казнить. Иван знал, чей это «Москвич», он принадлежал Павлу, новому крановщику из СМУ. Павел был крупен телом, русоволос, добротно упитан и чистоплотен. Последний раз Иван видел его в раздевалке. После душа тот стоял в белой майке напротив открытой двери своего шкафа, причёсывался, глядя во вставное зеркальце на двери. Затем взял с полки и налил себе в стакан водки, выпил, стал закусывать сероватого цвета варёным мясом, закидывал в рот один за другим головки чеснока. Но жевал аккуратно, слизывал с губ крошки хлеба, глаза смотрели светло. Иван находился рядом, в который раз с глубоко скрытой ненавистью разглядывал его, пытался найти изъян, ходил вокруг, осматривал и одежду его – добротную кожаную куртку, чистые туфли из натуральной кожи, белые носки – и вдруг, кивнув на чеснок, сощурил глаза: «А как ты в трамвае, дылда, поедешь? Ведь от тебя будет чесноком разить, как из помойки?» Павел усмехнулся, лицо довольно осветилось изнутри: «Пахнуть не будет: у меня желудок берёт без отдачи», – сказал он самодовольно и с такой уверенностью, что Иван поверил и вслед за рукой Павла, проведшей по животу, глянул на то место, где под белой майкой был у того желудок.

Наверху, по шоссейному мосту, иногда пролетали автомобили, прошивали на подъёме небо светом фар, и опять становилось темно вокруг.

Иван потянулся и взял с тумбочки газету. С первой страницы деланными глазами смотрел в счастливое будущее депутат, холёный дядя, тот, у которого сильно потеют ноги, да ещё, наверное, от обилья сил, прущих в загривок, много серы в ушах. Иван газету бросил, подтянул ноги на кушетку, выключил свет и привалился к стене, прикрыл глаза… Надо, чтобы солдаты вели по железной дороге и чтобы по бокам, по песчаному свею, – ковыль… А у того солдата, что с рыбой в кармане, спина длинная, а таз широкий, он шагает размашисто, костист и крепок, оборачивается иногда, на лице следы оспы… Что с него взять? Он подневолен, выполняет приказ; порой замедляет взор, оглядывая лицо Ивана с тревожным любопытством, – человеку сейчас умереть… Но Иван не может его полюбить, не берёт его магия палача, и простоватое лицо не кажется красивым, не милы грязные ногти и толстые пальцы, передёргивающие затвор,

не горька сама минута и не думается вовсе: в кои веки мог бы Иван подумать, что в этом образе его смерть…

– Аль пойти поблевать? Поморгаешь, и, может, пройдёт…

А Павел тот гикнул. Как-то внезапно. Не от желудка, а от инфаркта. Иван так и не успел спросить, почему именно – головы. Куда он дел туши лосей? И сколько он перебил зверушек? Как жаль их, трусливых. Как понятна их смертобоязнь, свежая, ненашенская – человечья, где уж от инстинктов не осталось и следа, а всё коммерция: пульку для себя и то повыгодней продадут. Как жаль зверушек, спящих по лесам тревожным чутким сном, и всё снится им, наверное, смерть, и деткам и мамкам. А за ними уж едут из городов с красными харями, с ружьями да водкой, и ведёт их проныра егерь, страшный своей безошибочностью. И бьют они и мамок и деток спящих, а детки-то малые верят, что мама их защитит, мама может всё, а её первую гонят под светом фар, бьют из окон автомобилей напропалую. Раздеть их самих донага, с красными-то харями, пустить в луч этот – и бегущих, от страха обдрищенных, из того же окна – пулемётами… А вот юнцы собак начали вешать на улице, каждое утро в проулке собачка висит. Подзывают, берут под грудь, она чует смерть, страшится и какает. Очаруют они, палачи. Милая, схвати за нос да беги, задрав хвост! И почему человек убивает? Право какое? И кто сказал, что венец – он и образ имеет по подобию? А может, Бог – птица или собака?! Почему подлец может съесть медведя, а медведь его нет? Изведут семейство, а после едут домой, садятся за стол и пишут о гармонии. Бога нет, а дьявол есть… Бога выдумали, чтоб с дьяволом бороться, уж больно скверно с одним дьяволом-то в душе, и порой, как в туалет, хочется чистоты…

Первую половину жизни Иван прожил спокойно, верил в конечное торжество справедливости. А потом жизнь начала бить и трясти. И уже не как само собой разумеющееся, не из газетных статей и не из разговоров он узнал, а собственной шкурой, глубинным нутром, исторически, болезненно и трагически, в конце-то концов осознал, что справедливости на земле нет. Нет и не будет. И если красить контурную карту по истории человечества, то смело зови вампира – пусть сплошь мажет её кровью. Недавно Иван видел, как несколько крыс таскают за ухо одну, провинившуюся, и та пищит! Вот общество мудрых!.. Избранный клан хвостатого мира! А человек – дерьмо…

На шоссейном мосту уже не было шума, тишина обволокла вселенную, каждый уголок в каморке Ивана. Ивану хотелось спать… И когда грохнул залп, он не слышал, он с наслаждением ел копчёную скумбрию, вяленый кусок, впившись с солоноватую плоть сухими протезными зубами. Но из дёсен слюна, как морская волна, увлажняла зубы и рот, вкус рыбы был неисчерпаем; он попросил её у солдата, изъявив последнее желание перед казнью, стоял на коленях, грыз и плакал от умиления. А над ним кружил рыжий коршун…

За дверью в те минуты было тихо, лишь подковыляла на трёх ногах и уселась у порога Малышка, рыжая лохматая сука. Умница, любимица всех рабочих, нарожала она когда-то щенят. Те выросли в неказистых оболтусов, стали её притеснять. В дождливые погоды Малышка пряталась под локомотивом, мерно работает двигатель над головой, тепло… Но вот проспала однажды, тронулся локомотив, Малышка успела выпрыгнуть, но оставила на шпалах лапу. По самую грудь отсекло, даже косточка не торчала, а была на груди яма. Исхудала, страшно улыбаясь истончённой мордой, клацала зубами – ловила с остервенением мух, что кружили по жаре вокруг гнойника. Всё сидела в углу, завалившись на бедро, не ожидая ни от кого пощады, и жарко горели её глаза, сбивалось дыхание. На неё махнули рукой. Лишь Иван, щерясь, ползал возле, брызгал йодом на шерсть вокруг раны, делал, как мог, перевязки. Она выкарабкалась. Так и жила, уходила на месяцы, видели её в разных концах города, ума не приложить, как добиралась на трёх ногах. Вот и сейчас сидела одна-одинёшенька, гонимая другим семейством псов, тогда как её дети передохли, объелись отравы. Той самой от грызунов, что насыпали санитары в раздевалке; однажды техничка убралась, вымела из-за шкафов желтоватые стружки, вынесла в контейнер. Малышкино племя попрыгало туда, обожралось

сладчайшего яда. А после отрава рвала желудки, собаки расползлись по базе, гасили брюшной огонь в снегу, на холодном железе… Маланья и Нюся – те насмерть примёрзли животами к стальным кольцам на дорожных плитах. Одной лишь Малышке была не судьба, – не смогла запрыгнуть на контейнер на трёх своих лапах, вот и сидела теперь одна, остроглазая, с крупной жилой вдоль заострённого носа, глядела нещадно в темноту, стерегла сон Ивана. И дождалась рассвета, утра дождалась.

Первым пришёл на базу кладовщик Венер, заглянул в охранницкую, Иван вышел. Сонному ещё, закопчённому после ночи Ивану выбритый, сытый, выпущенный только что из домашнего уюта Венер, в свежей сорочке, казался до завидного праздничным, беззаботным. Стояло ясное июньское утро, солнечный свет, отражаясь от кремнистой земли, резал глаза, и сыпался с неба птичий щебет.

– Кому спишь! – балагурил Венер. – Всё один. Бабу приведи, хочешь, познакомлю. Титьки, как арбуз!

В железную калитку проходили стропальщики, кладовщики, расходились по рабочим местам и раздевалкам. А Венер всё стоял напротив, здоровался с входящими и продолжал нести чепуху, с Иваном он ладил: за восемь лет работы Иван не был замечен в воровстве. И зелёные глазки его весело бегали на припухшем чистом лице, отливающем утренней бритостью. Иван нехотя отвечал… Когда раздался грохот у дальних ворот, а после послышался нарастающий стук колёс по рельсам, Венер, стоявший к тем воротам и к гусеничному крану спиной, судорожно втянул голову в плечи, пришибленно глянул на Ивана, меря умом расстояние: гусеничный кран с исполинской стрелой, опрокинувшись от удара, мог бы достать его концом стрелы по загривку. Они оба поняли, что произошло, и уже в следующую минуту, повернув головы, проводили глазами пронёсшуюся со страшной скоростью тройку вагонов. Это были цистерны с цементом, они выбили, как щепки, въездные ворота и умчались под мост, в сторону железнодорожной станции.

Венер матюгался с акцентом, а Иван быстро захромал к ветке и стал глядеть в образовавшуюся брешь вслед вагонам; он думал, куда их на этот раз понесёт: на станцию или в тупик… Наконец вдали затрещало, качнулись макушки берёз. Вагоны ушли в тупик, сработала аварийная стрелка.

С мутным предчувствием Иван по шпалам заковылял туда. Ещё до того от резкого движения, когда он неосторожно метнулся к ветке, у него хрустнуло где-то в шейке бедра, и теперь он прихрамывал.

Минут через пять он был на месте. Посадка была искорёжена. Два задних вагона стояли на рельсах, а передний, взрыв буфером землю, брюхом навис над ямой. Чёрная взрыхлённая почва и будто влажно… Иван нагнулся и, щерясь после солнца, постоял вниз головой, привык к темноте: нет, кажется, нет крови…

Сзади кто-то всхлипывал. Иван продрался сквозь ветви кустарника. Закрыв лицо руками, перед ним на кочке сидела женщина. Кажется, невредимая.

– Больше нет никого? – спросил Иван.

– Как же… Вон – мужчина! – плачущим голосом сказала она.

И тут Иван увидел в зарослях распростёртого навзничь мужчину. Это был пожилой человек, в чёрном потёртом костюме, вероятно, пенсионер. Тело его вздрагивало, изо рта пузырилась кровь.

– Ваш муж? – спросил Иван.

– Нет. Господи! Меня прямо в лоб вагоном!..

Тут подошёл азиатского вида парень, прыщавый, с сальными волосами и, судя по виду, с утра пьяный. Он покачивался.

– Если б тебя в голову вагоном, тётенька, мы бы тут долго твои мозги искали! – весело сказал он, но, увидев лежащего, впился в него глазами и побледнел.

Подходили новые зеваки, кто-то побежал вызывать «скорую».

Тело старика дёргалось, как оторванная паучья лапка – уже лишённое существа, обессмысленное, и наконец успокоилось; лицо стало серым, как камень.

Иван осмотрелся, отшагнул назад, он стоял посреди железнодорожной развилки, которую пересекали две тропы. Глянул в сторону своей базы, откуда пришёл состав, – и всё понял. Вот здесь мужчина пересекал железнодорожную ветку и вдруг увидел несущиеся на него вагоны. Он быстро перебежал через рельсы и по тропе вошёл в кустарник – как раз ступил на тупиковую ветку! Иван представил ужас старика, когда из кустов на него бросились те же вагоны, от которых он благополучно, казалось, ушёл.

А женщина в рубашке родилась. Она прямёхонько шагала к своей смерти. Впереди и чуть правее. Как раз тогда, когда мужчина поравнялся с нею, он получил удар в плечо. Мощным толчком, оторвавшим все внутренности, его отбросило в сторону женщины, в полёте он ударил её рукой (локтем, плечом) в голову, отчего она, коротконогая, и села на бугорок. Иван ещё раз осмотрел местность: да, именно так.

Иван осознал вдруг, что если не сейчас, то уже никогда эта баба не узнает о том, что здесь на самом деле произошло.

Женщина всё сидела на бугорке и всхлипывала. Он подошёл к ней.

– В голову тебя ударил не вагон, а – он! он! – прокричал Иван, горбясь и тыча пальцем в сторону покойного. – Он спас твою жизнь!..

Женщина, будто опамятав, отняла от заплаканных глаз руки и светло и, казалось, с чувством благодарности глянула в сторону лежащего… Но увидев, что обязана мертвецу, в ужасе закричала:

– Не-ет! Меня вагон ударил!

Люди ещё стояли, ждали врачей. В тишине утра всхлипывала несчастная. Солнце ярко освещало под кустом серое, будто выточенное из известняка, ухо покойного.

Чернявый бомж всё стоял, заворожённо смотрел на труп.

– Он вытянулся и сказал: «У-ф-ф…» – говорил он сам себе с чувством.

И вдруг в тишине, над освещённой опушкой, над жемчужной травой прошла широкая тень. Это было облако, оно пролетело, как большая птица. В солнечной просеке было отчётливо видно, как тень пролетела над станцией, над садами и избами и, холодная, равнодушная, но будто ища чего-то, понеслась дальше, в сторону Волги, – казалось, это была сама смерть.

Иван брёл по шпалам обратно. Ноги у него подкашивались, перед глазами ползло зеркальное лезвие рельса и насыпь, грязная, сплошь из красного щебня, залитого машинным маслом, – вовсе не такая, по которой водили его каждый день на расстрел.

Апрель, 2007

Вояж

Господин Зальц, весь сизый – лицом, волосами и цветом шляпы, спустился с крыльца провинциальной гостиницы.

Старый дворник, полуюродивый Тихон, сидел на лавке. Увидев гостя, оскаблился и воскликнул:

– Корошо!

– Зер гут! – подхватил немец.

– А по-нашенски?.. – продолжал вчерашнюю игру дворник: дурашливо вытянул в сторону немца плешивое темя, обнажил редкие зубы.

– Зашибись! – немец блеснул золотом пломб.

И Тихон с восторгом ударил черенком метлы оземь.

Он напоминал Зальцу известного русского артиста, с натянутой от уха до уха плешью, очень талантливого и пожилого, не так давно скончавшегося в берлинской клинике.

Тихон поднялся с лавки. Приволакивая ногу, подковылял, обеими руками сжал протянутую ладонь и близоруко уставился на дракона, танцующего на платиновой печатке немца.

Вскоре Зальц шагал по булыжной мостовой белорусской деревни Мышанка.

В Полесье уже пришла осень. Акация у дороги пожелтела и роняла листья. Влажный воздух приятно орошал лёгочные корешки, дышалось хорошо. Желудок переваривал консервированную ветчину, залитую аргентинским кофе. «Как это у них писал граф Толстой: “Он испытывал удовольствие от перевариваемой пищи”», – благодушно думал немец. И плечи его наливались энергией, шаг легчал. Конечно, он не так стар! Весной в Цюрихе он отдыхал с двумя офицерами из Люфтваффе, после русской кампании отбывших длительные сроки в сибирских лагерях. Они ещё бодры, хотя им уже по восемьдесят.

Завтра Зальц уезжает на родину. В тихий приморский город. Там воздух свеж и щекочет ноздри, словно газы сельтерской, – это когда штормит море и ветер приносит пыль нордических волн, разбившихся о скалы.

В Россию Зальц приехал по делам сыновней фирмы, торгующей химическими удобрениями. Он живёт в гостинице.

По утрам мимо его окон колонна солдат бежит к лесу. Останавливается возле опушки, выравнивается и, рассыпавшись шрапнелью, пересекает песчаное поле, чтобы облегчиться у канавы. Но у них злой начальник. Слова «Медленно!» и «Отставить!» звучат по нескольку раз. И уставшие солдаты, увязая сапогами в песке, возвращаются в строй… Командир смотрит на ручные часы, кричит: «Не успели!» – и, так и не разгрузившись, солдаты бегут обратно в казармы…

Господин Зальц перешёл поле. Вдоль яра трепетал осинник. Над деревьями, клубясь, лиловели тучи… Вдруг над головой засвистело. Зальц глянул и увидел ржавое полотнище – падающего коршуна, а под его крыльями – неистово вьющегося воробья. Раздался странный хлопок – и коршун, схвативший когтями добычу, зловеще полетел в сторону леса…

Зальц поднялся на взгорок и стал глядеть вдаль. Выбритое лицо сосредоточенно вытянулось, рыхло опали щёки.

Вон там, за дорогой, извилистый спуск к реке, водозабор. А там, в сторонке, избы, конюшня стояла…

Тогда в горящем хлеву пронзительно ревела спрятанная корова. Звук был душераздирающий. Унтер Зальц задумчиво шагал по тропе. Морщась, аккуратно вдавливал в песок носком начищенного сапога пустые гильзы – всё медленней и глубже… Не выдержав, наконец, вскинул «шмайссер» и выпустил в горящий хлев весь «рожок». И потом у него целый день тряслись пальцы рук.

Зальца тянуло в эти места. Мир, который ему предстояло тогда покорить, начинался отсюда – и поэтому он полюбил эту чуждую, нищую землю. Здесь он был молод. Зальц вскинул глаза – и лысые веки его покраснели…

Он помнит желтоволосую девушку. Её вытащили за косу из дома. Она с размаху шлёпнулась с крыльца наземь и испуганно примолкла. Сухая ссадина на её колене медленно пропиталась кровью, поглотила золотинки волос…

Рядовой эсэсовец с расцарапанной щекой опустил ствол – и дёрнувшаяся нога сбросила каплю в пыль. Колени раздвинулись, как у роженицы…

Унтер Зальц только отвёл глаза… Но после, насилуя девок, непременно делал на их телах ранки, а после войны едва сдерживал себя, чтобы не прокусить до крови плечо своей Гретхен, – видя всегда то колено…

Зальц глядел через поле на кирпичную постройку водозабора. Из небытия всплывали печальные лица соотечественников, Курта и толстяка Вилли, убитых партизанами.

И заложников сжигали в конюшне. Зальц стоял в оцеплении у того оврага. Дым по волглой траве стлался в его сторону. В конюшне кричали, доносилась возня ошалевшей овчарни. Уже потрескивало, начало припекать плечо, дым ел глаза. И вдруг сквозь слёзы Зальц увидел двух мальчишек, бежавших вниз от пылающей постройки. Зальц встал на пути – и те двое превратились в одного, остолбеневшего. Это был шароглазый подросток. Остановившись, он поскользнулся и, съехав по траве, сбил Зальца с ног. Зальц схватил его за мокрую рубаху на тощей груди, но тот, хрипя, прокусил ему руку и полетел вниз.

Платиновый дракон танцевал в арийской крови. Зальц поднял автомат и, лёжа на боку, долгой очередью подрезал-таки прыжок: мальчишку косо вертануло в овражный кустарник.

«Сколько лет они говорили о возмездии, – думал старый Зальц. – Я – убивал. Возможно, уничтожил родичей Тихона. И вот, стою на его Фатерланд. Стою как хозяин. А он готов лизать мне руку… Надо дать ему что-нибудь. У меня есть коньяк…»

Бескровные губы Зальца скорбно сжались, веки опали шалашиками.

Тёмное облако над лесом ширилось; где-то погромыхивало. Зальц прошёл немного и обернулся: тучи шли стеной.

Зальц пересёк поле. Вдруг над головой оглушительно треснуло. Это было так неожиданно, что он присел. Раскат опередила новая трещина, прошлась по небу росчерком стеклореза. Зальц прожил долгую жизнь, но не мог вспомнить, что бывают осенние грозы. Нет, осенью он положительно не видел гроз!

Между тем обнаружил, что стоит на открытой дороге. Так может ударить молния. «Возмездие»… – усмехнулся он. До околицы, где чернела изба с неубранной рожью на огороде, расстояние – с милю, до водозабора – столько же. И Зальц неторопливой трусцой направился в сторону села. Сзади грохотало, шумел ливень. Он хотел наддать, но передумал, – никогда не надо торопиться.

Новая трескучая вспышка осыпала тело мурашками. Встряхнула вселенную. Теперь Зальц бежал, испытывая мерзкое чувство обнажённости: будто раздели донага и обрили тело тупой бритвой. Шум нарастал – и вскоре его обогнал ливень.

Перед глазами стояла завеса, он видел лишь собственные руки, которыми отмахивал, стараясь держать ритм… И вдруг вскрикнул. Подпрыгивая на высоких колёсах, прямо на него нёсся трактор. Из кабины «Беларуси», приподнявшись на сиденье, что-то горланил пьяный детина.

Зальц скатился в кювет, в журчащие потоки. Грудь сдавило одышкой, во рту ощущался неприятный металлический привкус – не то от кислотного дождя, не то от бронхиального кашля…

Когда он добрался до села, небо ещё ворчало, угрожая в вышине кроваво-бурыми отвалами туч…

Он поднялся по ступенькам гостиницы и увидел Тихона.

– Зер гут! – крикнул тот с лавки.

– Зашибись, – пробормотал немец и скрылся в темноте коридора.

Ночью он с трудом уснул.

А утром лежал с перерезанным горлом. Лежал один, всевидящий и онемевший, среди огромного мира, как полюс средоточения всего мыслящего…

Возле одра толпились местные жители, качали головами и тревожно шептались. Появлялся мальчик. Осторожно выхаживал вокруг тела, заглядывал в сквозящую рану. И всё, косясь на печатку Зальца, лежавшую с ладонью на груди, повторял: «Гут, гут, гут». А потом нагнулся и, смеясь, старея в злорадном ощере, змеиным шёпотом выплюнул Зальцу в лицо: «Зашибись!»

Зальц дёрнулся, судорожно разодрал слипшееся веко, вскочил и захромал к окну, задыхаясь…

Через четверть часа он требовал машину, чтоб его отвезли в Гомель.

Когда он сходил с крыльца гостиницы, хромой Тихон мрачно наблюдал за ним из окна его же номера… Господин Зальц отвернулся – и его побрал ужас: Тихон стоял уже во дворе, за штакетником. Поправлял на метле прутья и улыбался – юродиво, виновато.

«Дурак! Мальчишку я убил! Ферфлюхте!..» – обругался Зальц про себя с сердцем, сел в кабину, хлопнул дверкой, и машина поехала.

1991

Такая жестокая

Белые чулки, штопанные чёрной нитью, – это стволы берёз. Их будто развесили вдоль тропы на бельевой верёвке. Там растут бузина, боярышник. Есть забор, возможно, калитка. На калитке скособочился почтовый ящик, куда уже давно не приходят письма. Тихое патриархальное захолустье. Кажется, там притаилась истина, и когда подолгу глядишь на куст бузины, скамейку, веришь, что они о чём-то думают.

Остановится возле пенсионер с авоськой, сядет на край скамейки, уймёт одышку, достанет аптечный флакончик, выпьет изрядно капель. И, хмелея от спиртовой настойки, любуясь божьим светом, вдруг ощутит, что жизнь-то прожита счастливо.

Прохожая девушка замрёт на полушаге, вынет из ушей наушники, будто кто-то её окликнул, осмотрится, увидит лавку, неосознанно направится к ней, сядет, прижмёт пальцы к вискам, и, пребывая как в полусне, вдруг почувствует, что влюблена.

А вот первоклассник возвращается с уроков, усталый, голодный и опустошённый. Ему не хочется домой, у него двойка, в тетради всё исчёркано красным, будто порезал над ней палец… «Э-хе-хе!..» – вздохнёт бедолага, опускаясь на лавку и сознавая, как сложна и трудноподъёмна его жизнь.

В каждом провинциальном городе есть такие загадочные места.

Когда-то в старой Казани между парком Горького и Арским кладбищем находился спуск к песчаному пляжу на реке Казанке – серая лента асфальта. Слева над ней нависала гора, справа под кладбищенским холмом темнел овраг, заросший крапивой. Матёрая, в жемчужных гирляндах, эта нежить из пропасти источала жуть, звала как пасть растения-людоеда…

Вот мы плетёмся в гору после долгого купания, измождённые, извяленные на солнце старички… Вдруг трескается небо и ударяет ливень. Такой сильный, что кажется, нас смоет. Крапива в овраге мгновенно смята, будто взорвался над ней инопланетный шар, по асфальту навстречу валом несутся горбатые струи. Как стаи живых рыб, бьются о щиколотки и отскакивают. Сестра крепко держит меня за руку, голову наклонила, распущенные косы полощутся, как рушники. Вода заливает ей глаза, она закрывает их ладонью и старается улыбаться, чтоб я не боялся.

Из посёлка Калуга купаться мы ходим через улицу Зинина, тогда деревянную, с пахучими липами вдоль тротуара. Заходим в угловой магазин «Обувь» – понюхать острый запах натуральной кожи. В магазине просители редки, и мы испытываем наслаждение, что нас не выгоняют.

Переходим улицу Ершова, совершенно пустынную. На конечной петле 8-го трамвая густо пахнет мазутом, индустрией. «Вечного огня» ещё нет. Стоит колонка. Из неё обязательно пьём, мочим головы, набираем в бутылки воду. Из ворот Арского кладбища глядят на нас лютеранские надгробия.

Долгая кладбищенская ограда тянется до крапивного оврага. Скрытая от солнца старыми деревьями, могильная земля за оградой в жаркую погоду преет, издаёт сладковатый запах. Робко приникаем к решётке и, шевеля губами, читаем имена и даты умерших. От слов «раб Божий…», «преставился…», «милостию Божьей» веет угрозой. Трепет вызывают и сами деревья, огромные, вековые. Комли их бугрятся над могилами, вылезая из тел людей. Кто-то в ужасе отскакивает от ограды, нервно гыгыкает и отпускает затрещины, пугая товарищей.

Дальше ещё ворота, за ними – старинный флигель из красного кирпича. То ли склад, то контора могильщиков. Мы трещим наперебой, что во флигеле живёт поп с попадьёй. Кто-то даже их разглядел в тёмных покоях – оба в высоких клобуках, молились перед иконостасом, а потом поп, узрев подсматривающего, яростно погрозил тому пальцем и задёрнул занавеску.

Там же, у флигеля, стоит скульптура почётной гражданки О. Воронцовой-Журавлёвой, умершей сто лет назад в возрасте семнадцати лет. Местная патрицианка, высеченная из белого мрамора, в крестьянском платье и платке, вызывает почтение.

Сам спуск к реке достаточно протяжённый. По нему велосипедисты, не крутя педалей, набирают такую скорость, что велосипед начинает бить, вот-вот отлетит колесо… И тут, из-за горы, открывается вид на реку, на широкий пляж.

Казанка течёт просторно, противоположный берег зарос камышом; он тянется далеко, чуть ли не до нынешней улицы Амирхана. До него могут доплыть лишь смельчаки, и только взрослые. Возвращаются измученные, с набухшими жилами и вздутыми животами, будто за рекой, куда они плавали, тайно вполз в них большой солитёр. Тяжело, как ласты, вынимают из воды ступни. В руках сжат пучок зелёных стрел с мягкими коричневыми бобинами, похожими на эскимо.

Мальчишки с завистью клянчат: «Дядя, дай один камыш!».

«Ещё чего! – отвечают те с самодовольной ухмылкой, – ищи дурака там!..» Кивают в сторону противоположного берега.

На пляже есть голубой домик медпункта, издали жутко пахнет йодом; «Спасательная станция» (здесь не страшно тонуть, ведь это почти как попасть под колёса «скорой»: раздавят и тут же вылечат); вот улица Подлужная, дебаркадер. Отсюда, бухтя, отходит теплоход «Москва», двигается вверх по речке, поворачивает за камыши и идёт, как комбайн по лугу.

Справа, как укрепление римского легиона, квадрат потемневшего от дождей забора «Сада юннатов».

Пляж переполнен, и уже здесь, у калитки в «Сад юннатов», сидят на расстеленных одеялах купальщики.

Мужчины в чёрных трусах, на головах закрученные с четырёх концов носовые платки. Тучные женщины в лифчиках, цвета стиральной синьки. Дорвались до воскресного солнца, сожгли ляжки полосой, будто их жарили на сковородке, не переворачивая. Перед ними на коврике: зелёный лук, варёный картофель, очищенный или в мундире, яйца, высохший на солнце хлеб, солонка. Иногда в алюминиевом бидоне квас. Вид мужчин уныл: а чё – квас?

Да и за квасом, у жёлтой бочки на колёсах, толпа людей. Стоят с бидонами, унылые, покорные судьбе и страшному зною. Вокруг голов намотано тряпьё, ниспадает на плечи, как у древних египтян.

Пиво и спиртное сюда не привозят. Здесь и без того случилась драка. Вот милиционеры ведут к мотоциклетной коляске подпитого мужика, а тот, раздувая жилы на шее, что есть мочи орёт: «Ко-ля! Ко-ля-а-а!» Кричит так, будто его ведут на костёр, а Коля и есть тот самый д'Артаньян, который сейчас подлетит, всех раскидает, выручит, избавит, спасёт. Мужика безжалостно скручивают, впихивают в люльку «Урала». На плечи ему верхом садится грузный милиционер, «утрамбовывает» задом, – и мощный «Урал» с грохотом мчит на вершину горы, к местному Олимпу, где ждёт бедолагу неминучая кара.

А вчера тоже было происшествие. С лодки нырнул в непрогретую воду фарватера армянин и умер от разрыва сердца.

После полудня песок на пляже накаляется так, что можно в нём сварить яйцо.

Я подпрыгиваю.

– Надень сандалии, – говорит сестра.

Находим место, стелем полотенца и раздеваемся. Сестра стягивает через голову сарафан, остаётся в тугих трусиках и лифчике.

Её тотчас окружают местные парни с Подлужной, человек пять. Они тоже в трусах, у тех, кто покруче, трусы с лампасами или сатиновые плавки, с завязками на бедре, как у первобытных.

Сестра красивая. Она уже большая, окончила восемь классов. Держит меня за руку, мы вместе входим в воду, она приседает и окунается, не выпуская моей руки.

Парни заходят в воду вместе с нами. Хотят с сестрой познакомиться, но не умеют это прилично сделать. Ударяя ладонью по воде, пускают в её сторону брызги. Сестре это не нравится, она глядит сердито, одна бровь взлетает и надменно подрагивает.

– Пойдём! – говорит она с гордым видом и тянет меня за руку.

Эти парни с Подлужной не на той лошадке подъехали – и нарвались на гордячку. На самом деле сестра простушка. Как-то весной шли с ней по улице, издали взрослый парень окликнул её из своего палисада. Выкликнул только имя, – ласково и значительно: «Нэл-ля!». Она обернулась, опустила голову и счастливо бросила мне: «Побежали!» Я мчался за ней по снежной каше, ничего не понимая.

Напротив нашего дома, у игрального стола, часто торчали женихи. Иногда уходили к оврагу драться.

О, как здорово быть братишкой взрослой красавицы!

Ощущать свою высочесткую значимость и подхалимство мужественных парней в клёшах с клиньями из красного бархата, вшитыми ниже колен. Конечно, в фаворе курсанты танкового училища, у них настоящая военная форма и пахнущие ваксой сапоги.

Тебя сажают на колени, обещают в следующий раз принести солдатскую пряжку, гильзы, погоны.

Ты не веришь счастью, жадность одолевает тебя, ты мечтательно закидываешь голову, зная, что тебя всё равно удержат рукой за спину и не дадут опрокинуться:

– Погоди, погоди! – говоришь, делаешь пальцами клювик. – А вот есть у тебя настоящая канадская шайба?

– Конечно, есть, – отвечают тебе с чудо-улыбкой.

– Это большая такая? Внутри которой – свинец?

– Н-ну да.

И ты готов выполнить любое поручение – передать сестре устную просьбу или записку, – весь до капельки крови продажный. Как Азамат, который «за лошадь Казбича отдал сестру заместо злата». Ты идёшь в дом и ругаешь непокорную, удивляясь, почему она к такому хорошему парню не выходит.

Особенно переживаешь за курсанта, он обещает принести настоящую ракету, она взлетает от удара основанием оземь. И из-за него ты ссоришься с сестрой и называешь её дурой. За это она метелит тебя обеими руками так, будто выбивает подушку, и суёт носом в угол пахнущего дустом дивана.

Однажды средь бела дня, в воскресенье, случается серьёзная стычка между курсантом и двумя студентами.

Вон они за окном – трое. Конечно, я думаю, что курсант победит, потому что он военный. Но мне говорят, что тех двое и у курсанта нет шансов.

В руке студента авторучка, он настойчиво указывает ею в сторону оврага, приглашая туда пройти. Курсант, Виктор Ильичёв из Саратова, красавец-богатырь (у меня до сих пор хранится его фото), улыбается агрессивному визави и, собственно, не отказывается идти к оврагу.

– Да ради бога, – говорит он.

Высыпают из соседних домов старухи и дети, начинают глазеть.

Парни трезвые, драка так и не состоится.

Сестра сидит в саду напуганная.

Бабушка, воспитанная в мусульманском духе, опозорена:

– Караул! Под окнами оказалось сразу три жениха?! – кудахчет она по-татарски.

В сердце сестры живёт другой парень. Они уже год встречаются. У них сильная любовь. Они десятилетиями не смогут расстаться, амбициозные, непримиримые. А если разлучатся, то будут разрушать жизни друг друга одним только своим существованием на земле.

Всё это будет позже.

А пока мы купаемся целый день и загораем на Казанке.

У нас с сестрой тоже авоська, где соль, зелёный лук, сваренные вкрутую яйца и в бутылке самодельный квас, сладкий. Сестра мне как младшему наливает больше, чем себе.

Как вкусно! И как чудесен мир!

Вот справа, где находится «Куба», за холмами, что-то ужасно грохочет. Будто с рёвом несётся по земле Змей Горыныч. Я ещё не знаю, что это поезд, уходящий в Сибирь.

Иногда оттуда же, из недр холмов, взлетает самолёт. Распластав крылья, трещит над головой. С земли отчётливо видны прямоугольные окна, алюминиевые листы с заклёпками и, кажется, голова лётчика.

…Теперь это небо застят конструкции громадного моста «Миллениум».

Когда не было нового шоссе к «Миллениуму» и жив был старый спуск, я поднимался по нему на автомобиле к самой макушке горы, поворачивал вправо, на грунтовую дорогу, с непросыхающими лужами и следами от копыт конной милиции. По перемычке между откосами переезжал на другой холм и оказывался над частными домами Подлужной. Эту дорогу от понтонного моста мало тогда кто знал.

С холма открывался обширный вид на Заречье.

Я ставил машину на краю обрыва. Разжигал костерок из сухой травы, вынимал из багажника турку, воду и пачку чая.

Комки сухого бурьяна, задыхаясь в седом дыму, выворачивали пламя изнанкой. Вскоре в турке закипала вода. Я заваривал чай, переливал в чашку, садился, отхлёбывал.

Редкие прохожие, что сворачивали возле меня по тропе на Подлужную, должно быть, находили странным вид отщепенца с первобытным костром в центре мегаполиса.

Однажды в августе, когда по приезде в Казань я так отдыхал, судьба ниспослала на тропинку женщину. Статная брюнетка с синими, почти фиолетовыми глазами шла в мою сторону, глядя на мой костёр. Сидя в дыму, ароматах чая, я повернул голову, невольно обратив внимание на её красоту… Но тут заметил, как по лицу её прошла судорога, подбородок затрясся. Не стесняясь, с открытым лицом, чуть не плача, она всю дорогу, до поворота вниз, смотрела на мой мирок…

Мне стало не по себе. Я отвернулся.

Потом видел, как она спускалась. Коричневое темя с уложенной причёской, узкие плечи в трикотажной кофточке…

Когда работают бульдозеры, человек, долго отсутствовавший, в новом ландшафте теряет ориентацию. Где находился мой любимый спуск «Сад юннатов»? Всё раскатали, не было даже маячка для ориентации.

На съезде к «Миллениуму» остановка запрещена, да и опасна – могут ударить в зад… Я проехал на пляж со стороны Подлужной. Обнаружил там грязь и брошеные строительные материалы. Рискнул проехать дальше, до бывшей косы – к пляжу «солдатскому», что под «Кубой». «Нива» преодолевала кочки, валила камышовые заросли. Выехал на пятачок, развернулся у старых ив.

«Солдатский» пляж был чист и нетронут, только река казалась заметно уже.

На обратном пути остановился под «Миллениумом». Начал вглядываться в разрытую местность. Где же был тут спуск?.. Неужели всё стёрто с лица земли?! Да, есть в созидании нечто и от варварства!

Я петлял на машине вверх по впадине, ехал под мостом наугад, приоткрыл дверцу, разглядывал грунт, азартное предчувствие не покидало. И вот под колесом мелькнуло! Будто обломок грязного льда. Ещё и ещё. А вот небольшое плато. Среди грязи я нащупывал русло. Кажется, нашёл. Боже, как же этот артефакт сумел спастись тут от бульдозерного ножа?! О, моя древняя Аппиева дорога! Я тебя нашёл! Я чуть не плакал от восторга.

Дальше пошли горы земли. Я включил блокировку, пониженку, дал машине вдоволь бензина! «Нива» взревела, пошла, ныряя, как катер, распахнула кустарник. И я, как попаданец в романах фэнтези, в одну секунду из мира прошлого оказался в мире реальном: вылетев из кустов, машина встала мордой к встречке. Перед моим носом в сторону «Миллениума» неслись по шоссе иномарки.

Седой благообразный господин пришёл на встречу к главному входу зирата.

Мы пробираемся по снегу среди могильных оград.

– Она так смеялась, так смеялась!.. Я стеснялся ходить с ней на комедии, – говорит он за плечом. – Она так смеялась, я не могу!..

Плечи его трясутся.

Мы стоим возле свежей могилы. Из сугроба торчит оструганная доска с жестяной косынкой, с именем и датой смерти.

Мужчина всхлипывает, о чём-то просит. А она молчит, такая жестокая!

А я вижу ливень на старом спуске. Мы поднимаемся босые. Сестра улыбается, волосы её полощутся, как рушники. Ей всего пятнадцать, он встретит её на следующий год. И чего он плачет?

11 августа, 2013

Велосипед

Сбежал с работы, взял собачонку и поехал в лес. Тайно от всех, в этом особая прелесть!

Грибов нет, погода сухая. Устраиваешься на пригорке между двух дорог, под раскидистым дубом. Пьёшь чай из термоса, а пёс, растянувшись в стороне, уписывает сардельку. Хорошо. Тихо. Дуб стелет жёлтые кружева по траве. Вот движется тень… проезжает велосипедистка. Юная. Лица не разглядеть. Лишь прямая осанка, светлые волосы на плечах.

Как это необычно в 2000-м году! Ведь велосипед – это нищета, Вьетнам, где население крутит педали под широкими конусными шляпами, и вся улица – будто движется грибная поляна! Дивы наши предпочитают глядеть на мир из авто, желательно иномарок. А тут на велосипеде! Причём на отечественном «Урале»!

Дорога, две бежевые колеи, сворачивает вниз к далёкой опушке, охватывает луговину, чтобы опять повернуть сюда, к одинокому дубу.

Серебрятся вдали спицы, мелькают в сухотравье. Но девушка не идёт на повторный круг, а крутит педали вдоль опушки – в сторону, где в низине за деревьями прячутся крыши деревни.

Закрываешь глаза…

Той ли деревни, что у камского моря? Та ли это девочка из Кировского района – из школы, кажется, № 1?

Не знакомимся, не договариваемся. Может, мы даже дальние родственники, как и многие здесь, на Каме.

Встречаемся утром у картофельных огородов, держим велосипеды за бараньи рога. Садимся и выезжаем за околицу. Мчимся по лугам, по волнистым, утягивающим вниз, будто качели, просёлкам. Обдуваемые камским ветром, летим к берегу, затем вдоль высоких обрывов, обвалов с глянцевыми влажными буграми, похожими на дюны, – вдоль широкого катящего волну мелководья. Ты за ней, а она впереди, – развевает волосы, крутит педали, поднимая голые крепкие колени. Иногда ты бестактно надолго уходишь вперёд, и она маячит далеко позади, сиротливая…

Носимся и по лесам. Это наверху. За колхозными полями, где припечённый зноем горизонт. Там пролески. Хлёсткий орешник. Душистая под колёсами земляника. Падаем на траву, задираем рубашки, сушим взмокшие животы. Как будто и не различаем разницу пола, как будто – два мальчика, два подростка.

Но мы врём.

Притворяемся, что не различаем. Потому что дальше – черта, за которой нет этой раскованности, соревнования, равноправия. Мы это чувствуем, но каждый думает, что другой об этом не догадывается. Мы боимся потерять это «завтра», когда опять встретимся у околицы, скажем друг другу «Привет!», и она, не боясь за свою судьбу, будет накручивать педали за моей спиной.

2006; 2015

Неевклидова геометрия памяти

1

Когда человеку плохо, он прибегает к дневнику, всё жалуется, а потом кажется: вся жизнь его – уныние. Причём все дневники – уловка хитрецов: попытка оправдать себя в глазах потомков. Многим это удаётся.

Мы обожествляем давно ушедших людей, порой не зная, что при жизни могли бы ненавидеть их. Люди не знают, что скажут о них после смерти… Хотя грязные сплетни – как помои: текут туда, где ниже (интеллектуальный уровень). Нет человека, который не совершал бы в молодости поступков, за которые впоследствии не было бы стыдно. Не надо казнить виновного, ему без нас от себя достанется. Главное в том, чтобы осознать свои ошибки. Что-то исправить, хотя с годами всё труднее ломать судьбу.

Всё можно! – смело утверждаем мы в юности.

Всё возможно, – скромно соглашаемся, когда за сорок.

Всё в божьей власти… – вздыхаем в старости.

Да, в молодые годы мы всё могли. Да вот только не хотели, там ленились, там истратились на любовь, там прохвастали, а там прокутили.

Взор, запущенный в прошлое, – он, как летящий камень, постепенно меняет траекторию, искажая сущности. Это неевклидова линия памяти, где факты превращаются в мираж. А неточное воспроизведение прошлого порождает легенды. Главные мифотворцы – это очевидцы. Не лжецы и не клятвопреступники, а обознавшиеся, ослышавшиеся люди, иногда задним числом в силу меняющегося сознания. Два торговца на базаре, участника одного события, совершенно искренне описывают его по-разному, приводят взаимоисключающие детали и бьют при этом друг друга по голове безменами. В число столовых специй моих знакомых супругов, кроме перца и горчицы, непременно входит адреналин. Каждый день перед едой они спорят по пустякам, опровергают друг друга до неистовства (например, что трамвай звенел до поворота, а не после), и только потом с аппетитом берут в руки ложки.

Случаются исторические события, которые человек помнит определённо, так как часто их воспроизводил в памяти и давал оценку. Но проходят десятилетия – и всё человечество не только интерпретирует эти события по-другому, но и доказывает, что было в том случае совсем не так. Тогда человек недоумевает, смеет утверждать, что ошиблось всё человечество, хронология событий была другая, а у репортажных фарисеев тогда не было времени подогнать факты под те лекала, которые муссируются сегодня. Проходят годы, пожилого, уже нездорового и оттого неуверенного в себе человека в конце концов начинают мучить сомнения, он теряется, он и так неудачник (как и все, кто идёт против течения)… Но вдруг – о чудо! – появляется единомышленник! С доверительной улыбкой он заявляет как раз о том, о чём прежде утверждал страдалец. Единомышленник так вовремя, так кстати! Страдалец желает наделить его фактами, вырезками из газет, записями, сделанными химическим карандашом. Сучит руками по бокам и под мышками, но ладони соскальзывают вдоль клапанов, шелестят лавсаном, ибо на погребальном фраке отсутствуют карманы. И – о, как жмут от гнева картонные ботинки!

Правда торжествует через века и тысячелетия, но при условии, что историк осилит авторитет царей и завоевателей, исторический подлог. И тогда осыпаются в мел лжесвидетельства Навуходоносора, проступают, как симпатические чернила, на надгробиях сбитые письмена и о фараоне Эхнатоне, и об истинных Рюриковичах в усыпальнице Архангельского собора.

Меняется сознание человека и при умопомрачительных пытках, оргазмах, восторгах, происходит сдвиг впечатлений. А ещё существует эффект плюсквамперфекта памяти, – поза-

прошлое, которое вспоминалось в недавнем прошлом, обдумывалось, обкатывалось, как леденец, постепенно меняло форму – да так и задвигалось в мозговой отсек в изменённом виде…

Подмена происходит и во сне, и под косвенным впечатлением, подсознательно цементируется, и орфографическое правило, которому ты несколько лет следовал, оказывается на поверку ошибочным. Как же!? – восклицаешь ты, – я помню, как учительница, ходя по классу, методично повторяла это правило. Ещё «пошёл» капрон на её ноге, широко и бесстыдно – по всей длине. Ей пришлось снять чулки, и она всё ходила с голыми ногами, всё твердила это правило. И когда ты нынче самоуверенно, с росчерком, выписываешь какой-нибудь документ, союз «чтоб» у тебя вылетает раздельный. Ты употребляешь это слово с удовольствием, ты уверен в нём, ибо при написании видишь твёрдый постав учительской ноги, мускулистой и непоколебимой, как буква закона. Вот так злополучный союз раздвоила трещина на капроне.

В школьном саду моя одноклассница снялась на фото в день последнего звонка – майским днём сидела на корточках, блестя на солнце белым фартуком, белыми коленками и чистым секстинским лбом, щурилась. За оградой росли старые вязы. На уроках физкультуры мы бегали там стометровку, и эти деревья приходилось обегать. Я хорошо помню, что дупла вязов были заделаны кирпичной кладкой, чтоб там не лазили мальчишки. Теперь этих вязов нет. Это не то, что их срубили и тщательно заделали асфальт. На том узком тротуаре вдоль каменного забора просто невозможно расположить такие мощные стволы, человеку не будет дороги. Не думаю, что произошёл какой-то сублимационный сбой или обмен – и эти деревья из жизни какого-нибудь Ассименилая, что живёт на другой стороне планеты, нечаянно залетели ко мне в память, а ему, в свою очередь, – воспоминание о том, как некто тянул девочку за косу, жидкую, белую, невиданного цвета в его семитском селении. Но что же с вязами? Куда ушли великаны, в какую страну? Может, это движенье пластов земли? Можно себе представить, сколько пропало в садах зарытых кладов! На бесконечных просторах Нечерноземья, сотканных из шести дачных соток! Что – их грабят соседи, наблюдавшие за схроном через сетку-рабицу? Или собственный отпрыск, как раз в ту лунную ночь занимавшийся в кустах постыдным делом? И напрасно отец с решимостью Тараса Бульбы пытал его на самодельной дыбе в сарае, напрасно соседу щемил створкой двери гульфик. Клады экспроприирует сама земля! И наверняка казна Казанского ханства, брошенная в озеро Кабан, которое изменило свои берега за столетия, блуждает теперь под нашими ногами, и, возможно, прямо на этих бочках в подземном переходе, что на «Кольце», восседает, как страж парадоксов, с шапкой у колен нищий.

2

– Девочки, девочки! Идите сюда, – воскликнула первая, сойдя на мостовую, – я придумала! Поедем в краеведческий музей.

– В краеведческий… – сделала мину вторая. – А может, в Кремль?

– Ой, там нет столовой, – воскликнула третья, – а мне есть хочется.

– Я придумала! Поедем на Чистые Пруды, там есть кафе!

– Ура-а!

У первой, той, что сошла на мостовую, на голове – «таблетка», пришпиленная, как у Греты Гарбо, на плечах – плащ с большой, как бабочка, брошью у горла вместо пуговицы. Другая тоже была в широком пыльнике, на ногах крепенькие, будто литые, полуботинки. На голове третьей красовался капор, подвязанный у подбородка лентой на бантике. Подружки были счастливы, на лицах от возбуждения светился румянец. Они давно не виделись. Мимо сновали москвичи, ко всему привыкшие, занятые, с взорами, обращёнными в самих себя. Мало ли нынче школьниц с портфелями и мешками со сменной обувью, усталые и голодные, но не в силах расстаться, мотаются после уроков по скверам и улицам.

И никто не хотел замечать этих счастливых семидесятилетних подружек.

О, сколько радости ты испытываешь сам, когда зарегистрируешься на сайте «Одноклассники». Тебе обещано возвращение детства, ты увидишь своих школяров! Ты ждёшь. И вот первое сообщение! Письма. Сколько подробностей, у кого так-то сложилась жизнь, у кого по-другому. Что-то с тобой случилось. Ты не спишь ночами, лежишь с отрытыми глазами. В душе работает тихий вулкан, течёт в груди сладкая магма, ты полон ощущения перемен, словно тебе семнадцать. Скоро ты встретишься с одноклассницей, красивой и успешной женщиной, боготворящей тебя. Ты слышишь по телефону её властный, но ласковый голос с лёгкой хрипотцой. После разговора бежишь к компьютеру и вновь рассматриваешь фотографию: стройная блондинка (уже) стоит на фоне Москвы-реки, вскинула лицо к солнцу – и тебе кажется, что ты всю жизнь любил её. Ну да, кончено, ты любил это чистое лицо, тёмные волосы, детскую улыбку с блестящим лбом. И потому берёг это фото на фоне школьного сада, где она присела на корточки. Ах, строгая школьная форма! Кружевной воротничок, ленты фартука на плечах, а на спине – накрест, и непременно – точёные колени. Чудные колени – как неотъемлемая часть униформы советской школьницы. Господи, именно в этой форме, коричневого, как шоколад, цвета, первая любовь была недоступна, именно в эту форму мы наряжаем нынче своих возлюбленных, заставив достать её из чемоданов, – и любуемся «школьницей», с изощрённой фантазией извращенцев растягиваем иллюзию недоступности.

Господи, но когда, когда же первая встреча?!

Вы так волнуетесь, вы говорите часами по мобильному, но всё откладываете свидание. Вы откладываете встречу уже в который раз: то не может приехать она, вот поскользнулась, подвернула лодыжку; то робеешь ты… А потом, когда она выздоравливает, ты с ужасом замечаешь, что тебе нужно сменить старую машину… Затем появляется другая причина: Лета выносит на виртуальную плоскость спасительный круг, а из него торчит сивая голова Иванова.

Конечно, ты съездишь сначала на встречу с Ивановым, с ним легче, с ним проще. С ним будет репетиция.

И вот ты смотришь на немолодого уже человека. И ощущаешь совсем не то, о чём мечтал. Иванов постарел, он морщинист и неуклюж, мнётся и чего-то не договаривает, и наверняка у него скопилось много грехов, которые он скрывает. Ты невольно оглядываешь спутницу Иванова, его супругу, которую он взял с собой на встречу, её землистое лицо, выцветшие глаза, под блузой подпёртую корсетом грудь. «Это Катя, тоже из нашей школки, – говорит Иванов, пытаясь казаться развязным, и этим как бы извиняясь за её внешность. – Мы учились в восьмом, а она в пятом, рыжая такая, помнишь?» Ты киваешь и напрасно пытаешься в этой женщине с подкрашенной сединой представить резвую пятиклассницу на тонких ножках, бегущую вверх по лестнице с тяжёлым портфелем на бедре. Нет, на вид она годится тебе в тёщи. Иванова ты помнил мальчишкой, поэтому легко мог преобразить его старое лицо в детское. А её – нет. И потому она кажется старше Иванова лет на тридцать.

Мимоходом отмечаешь, как грузен Иванов, опасно грузен, апоплексически тяжёл. Это твой одногодка…

Ты уезжаешь разочарованный. Ты хотел обмануть судьбу. Но Иванов привёз тебе зеркало. Теперь ты не подходишь к телефону, пусть так. Пусть та девочка в школьной форме, сидя на полу в просторной городской квартире, в которой она хочет тепла, уюта и наконец-то близкого, понимающего её человека, пусть она набирает твой номер и, слыша долгие гудки, плачет. Пусть так. Увы, она не привезёт тебе корзину молодильных яблок, и вы не будете их хрумкать, болтая ногами на скамейке где-нибудь у набережной. Пусть так. Пусть она никогда не узнает, что ты стар, что прихрамываешь от атеросклероза, что комната твоя полна чада от искуренных сигарет. И что, вообще, в силу возраста ты уважаешь покой.

3

И опять тебе было видение – на улице, когда шёл с сигаретой вдоль витрины. Параллельно с тобой дымил дядька, сутулый, седой, с нездоровым цветом лица. Ты остановился, – он тоже, ты подумал: ему не много осталось жить на свете. Вы долго смотрели друг на друга с покоробленными от горечи лицами: ты и ты…

Неужели ты – это тот, кого несут на руках зимним январским утром. Хруст снега и морозный туман, люди с калуженской горы спешат к трамваю номер шесть. Ещё недавно за опоздание на работу сажали в тюрьму, и люди ехали на крыше трамвая, висли на подножках. Отец и мать идут молча, сосредоточенно, тебе очень хочется спать. Тебе очень хотелось спать ещё тогда, когда тебя одевали, встряхивали за плечо и совали ручонки в рукава пальто, повязывали голову платком, а потом напяливали меховую шапку. Мама завязывала у подбородка тесёмки, руки её остро пахли кухней, луком, ты водил носом, делал трубочкой губы, а в ушах от шуршанья тесёмок шебуршали мыши. И вот тебя несут на руках, ты заваливаешься на бок, отец тебя слегка подкидывает, чтоб поправить. Сон нарушен, и пробирает холод, а впереди, в морозной дымке, покачивается знакомый шпиль на сером павлюхинском здании, и тебе кажется, что это в облаках стоит на вечном причале корабль с квадратной рубкой.

Так каждое утро тебя отвозили к бабушке, полуподвальная комната которой заменяла детсад. А после, став первоклассником, ты был предоставлен сам себе.

Тебя также будили морозными утрами в полшестого, кормили, показывали на стрелку часов пальцем и, пустив в избу холодный пар, уходили. Ты оставался один. Было грустно, удары маятника отдавали в голове ватной колотушкой… Хотелось спать, веки тяжелели, волной охватывало ощущение телесного несчастья. Ты с завистью представлял, как где-то в далёких сказочных лесах под тёплыми снежными покрывалами уютно спят, посасывая лапки, сурки, ежи и медвежата…

Вот стрелка часов подошла к цифре, на которую указывала мама. Пора собираться. На тебе школьный костюм, на руках – сатиновые нарукавники. Ты смотришь на них… и, решительно закусив губу, краснея от сознания неблаговидности поступка, стягиваешь с рук эти смешные, девчачьи нарукавники, которые заставляет надевать мама. Прячешь их подальше – за обувную полку, заталкиваешь в щель, закрываешь валенками. Затем надеваешь пальто, шапку, «прощайки», берёшь ранец, мешок со сменной обувью и выходишь из дома. На улице морозно, темно, и странно, не видно школьников, которые в это время обычно вытекают из проулков на твою улицу. Безлюдно и около магазина, и возле общежития, где горит у входа тусклая лампа… Какая-то тётя, убиравшая снег на тротуаре, – её красное лицо тебе знакомо – поправила рукою шаль и крикнула: «Ты куда? Ещё рано, иди домой!» – «Ну-у…» – отвечаешь ты, не веря ей, и упрямо плетёшься своей дорогой. В школе тоже сумеречно, свет горит лишь у парадного подъезда и в конце коридора. «Ишо закрыто! Придёшь через час!» – кричит издали уборщица тётя Варя, направляясь к тебе. Не отвечая ей, ты проходишь мимо, снимаешь пальто и уходишь в другой конец коридора. Но в душе появляется какое-то сомнение, уже и не связанное со временем, твоё «я» тут как бы раздваивается, это «я» уже как бы и не «я»: одна половина видит коридор с пахнущим уборкой мокрым полом, висячие белые плафоны, стенд на стене, а другая – растянулась на подоконнике и спит, спит…

Ты долго стоишь возле раздевалки, дверь которой ещё на замке. Затем, взявшись за петлю пальцами, стягиваешь пальто с подоконника – тотчас падают, звеня по кафелю, какие-то деньги, две пятнашки и пятак. Ты поднимаешь их, рядом стоит девочка постарше, пришедшая только что, и ты, наслаждаясь своей честностью, отдаёшь ей монеты. Держа в руках пальто и мешок со сменной обувью, поднимаешься на четвёртый этаж. Оттуда видно Заволжье, зимний берег с зубчатыми макушками дремучих елей, точь-в-точь такими же, какие ты видел на чуд-

ных иллюстрациях к сказке о сером волке. Там другой мир, обещанье чего-то хорошего, что получишь ты, когда станешь взрослым. А потом ты обнаружишь, что в кармане нет денег, что дала мама, тех пятнашек и пятака. Ты вспомнишь, что отдал их девочке (такое в твоей жизни случится ещё не раз), и тебе почему-то станет жаль не себя, лишённого обеда, а своей мамы, которая надеялась, что ты хорошо покушаешь. И тебе станет так жаль маму, что ты заплачешь. И в пронзительной детской печали, глядя сквозь тёплые слёзы на дальний берег, ты ощутишь, что именно этот случай как раз и есть подсказка, намёк, утвержденье, что ты – это ты, что ты тут не ошибся, и этот случай – пожертвование тому, что ты видел на другом берегу Волги, – тому обещанью, надежде…

4

Когда мне было шестнадцать, я летал в студенческий отряд к своей девушке. Душа была истерзана, мы только что простились: с накрашенными ресницами, в телогрейке и резиновых сапогах, она скрылась за опушкой леса, где стоял лагерь. Я ждал самолёта в местном аэропорту «Бегишево», тянул из гранёного стакана мутный кофе. И вдруг увидел роскошную брюнетку и коренастого, крепко сбитого рыжего дядю в коже. Дядя этот, с плешью на красном затылке, пучил глаза и покряхтывал, глядя на свою спутницу. Казалось, он был в неё злобно влюблён. Стояла холодная сырая осень, промозглое утро, когда так хочется согреть кровь горячительным. Но время было советское, спиртное отпускали с одиннадцати, разрешался только очень дорогой коньяк. И все с завистью наблюдали, как этот рыжий брал два стакана коньяка короткими толстыми пальцами, как пил, а потом рвал зубами курицу, апоплексически тараща глаза с отсутствующими ресницами на свою возлюбленную. Он был страшен и вместе тем замечателен! Мне даже показалось, что волосы его сгорели от страсти, опалились концы бровей. А когда его спутница встала ко мне спиной, плеснув чёрными распущенными волосами с обильной проседью, меня до глубины души поразила догадка: «А это вот – окалина!»

То была страсть чистая, с открытым забралом. Но бывает страсть тайная, похоть воровата… Я ехал в электричке в сторону Ессентуков. Напротив чинно сидела кавказская пара: он и худая чернавка с узкими мужскими бёдрами. Вдруг он ловит в прицел глаз блондинку, что сидит рядом со мной, и медленно, будто нажимает спусковой крючок, выстреливает в неё движением птичьего века! Подмиг кинжальный! Молниеносный!.. Но в ту же секунду он замечает меня! Взгляд его рушится, он так смущён, что не знает куда деть глаза… но он испугался не меня, видевшего этот подмиг в упор. Он испугался момента свидетеля, который, как зеркало, отразил его подлость и предательство в отношении жены – матери его детей, хранительницы очага, которая в его национальном понятии должна быть свята.

Страстью художественной, странной отличался друг моего детства. Друг был нежен с женщинами, до того чувствителен, что часто плакал. Он был неудачник, ибо принадлежал к тому сословию мужчин, которое надеется что-то доказать женщине. Большее несчастье он испытывал оттого, что был ревнив, и ему напрасно казалось, что в гневе он страшен. Он был дотошен в своих допросах, которые обычно завершались благодушными нравоучениями, – такими же бесполезными, как поучения училки в тюремном ПТУ, где девочки, хлебнувшие горя, были и мудрей, и опытней, и циничней наставницы. Он остался в нашем классе на второй год не потому, что был глуп, а из лени. В его мозгу не было формул и правил, но он был чертовски талантлив – пронзительно остро ощущал жизнь. Когда мимо проходила стройная женщина, он останавливался, оборачивался и, склонив голову, долго смотрел ей вслед, глаза его слезились… Или на пляже, лёжа на животе, подолгу наблюдал за какой-нибудь дамой в купальнике, возбуждая своё воображение, – и ребята, смеясь, зная про эту его слабость, силой пытались поднять его на ноги – чтобы поднять на смех, ибо он был в обтягивающих плавках… Что творилось в его воображении, когда он наблюдал за волжской Афродитой, стоящей в реч-

ной пене? Друг был откровенен с нами до неприличия, и воображения Пикассо и Дали казались бездарными и шарлатанскими при сравнении с тем, что видел мальчик! Всё это останется в мировой сокровищнице тайн, как загрунтованный холст.

Он плохо знал женщин, но хорошо их чувствовал. Однажды привёл к себе девушку. В доме было холодно. Она стянула с себя трусики, и зябко сутулясь, поддерживая ладонью шары грудей, прошла по ледяным половицам и стала вешать эти трусики на спинку стула. И он, видя, как густо покрылись мурашками её бёдра, почувствовал, как стягивало её ягодицы, отворяюще и горячо. Во время расставаний этот образ мучил его недосягаемостью, но больше ревностью: он не мог ей простить, что она может желать. Однажды он избил её за это. Мать перестала выпускать её из дома. Он изнывал, прятался за воротами и подстерёг: мать ушла в магазин. Он юркнул во двор, кинулся на крыльцо, надеясь найти девушку в глубине комнат. Но столкнулся с нею в дверях нос к носу.

– Чего тянешь?! – крикнула она и потащила его на веранду. Было июльское пекло, низкая железная крыша веранды раскалила воздух, как в сауне. Его толкнули на диван, спиной придавили нос. Он увидел белый шар обнажившейся ягодицы, мученически закинутый на сторону профиль… и всё глазел и глазел на вывернутую грудь – на сосок, изумительно сочный, в красном ореоле, как рисунок солнца…

Он жгуче её ревновал, в часы подозрений, объятый пламенем, бежал на улицу, ловил машину и гнал туда, где у девушки пустовала кооперативная квартира. У подъезда взбирался на газовую трубу, идущую вдоль второго этажа, бежал по ней, лавируя, как циркач, – до открытой форточки в кухню. В скачке головой пробивал натянутую марлю и нырял внутрь, втыкался носом в листья мяты на подоконнике; подошвы туфель торчали на улицу. Жилясь, опускался, семенил ладонями по стене и полу, как рептилия. Вскакивал и бегом, – чтобы они не успели уйти – врывался в смежные комнаты!.. Распахивал дверь в ванную!.. В туалет!.. В конце концов врывался в лоджию. Никого… Вытянув шею, выглядывал за перила, на тропинку бетонной отмостки, в надежде застать там хотя бы парок испаренья от улепетнувших подмёток… Затем становилось стыдно, стыдно, стыдно…

Он боялся измен – и они к нему прикатили. Он понял, что без этой женщины жить не может, любил её и ненавидел. Её каждодневная ложь, глупая и наглая, сбивала с толку его разум, и без того вином истерзанный. Он дал согласие на разрыв, но они продолжали жить вместе. И вдруг он пить бросил, его назначили на денежную должность, а она потеряла работу. «Может, опять замуж возьмёт!» – говорила она, виляя бёдрами среди пьющих подруг, – и он склабился в стороне, но как-то нервно, задумчиво. Он простил её, ведь падшую женщину нужно простить, как говорил он и себе, и приятелям. Но в этом прощении было что-то страшное. Какое-то предзнаменование. «Так перед смертью больной испытывает облегчение», – думал он. Эта фраза была навязчива, и до того настряла, что прежде понимавший её тонкий, одному ему известный смысл, – теперь он не мог уже её расшифровать. И с тем запил вновь.

И вот узнал, что она опять изменяет.

Он убил её с удвоенной жестокостью. И когда вонзал нож в мягкое, податливое тело, вдруг ясно осознал, что притворялся насчёт того прощения. И когда под конвоем привели в церковь, и он увидел собственноручно лишённое им жизни, убранное другими людьми тело, треснувшие губы, слипшиеся, будто клеем намазанные веки, – мёртвая показалась ему одной большой, запёкшейся раной. И только тут до него дошло, что с нею он сделал.

Это был всего лишь сон. Он копил силы расстаться с нею. И расстался. Потому что боялся тюрьмы. Не заключения, голода и лишений, а камерных урок, которые приставят ему под ребро нож и будут измываться.

С детства он жалел животных, безобидные существа – пушистые, добродушные и весёлые – убиваемые на земле ежесекундно. Теперь это чувство у него обострилось до болезненности. Он перестал бить надоедливых мух, с негодованием отнимал раненую мышь у кошки

и даже дождевого червя, беспечно ползущего по тротуару, брал пальцами и, браня, относил к газону; особенно сетовал на муравьёв, подставлявших свои жизни подошвам. У него появилась жалость и к старым вещам – рваному пальто, одинокой лыже – не в силу собирательства Плюшкина, а по причине их одушевления. Ему внимали со шкафа высокие ушастые ботинки с разбитыми скулами и страдающая в астматической пыли чердака ушанка; а скукоженная женская перчатка всё лежала ничком, пряча лицо, переживала горесть, как брошенная дама.

Он сошёлся с какой-то пьяницей, которая мыла в пивной (за пиво) посуду, часто травился одеколоном и сидел по утрам на крыльце, бездумно глядя перед собой. Каждую ночь ему снилось, что его хоронят, несут по милой улочке в ясный сентябрь, и он свеж и мил лицом.

Да, жизнь была прожита и, кажется, погублена.

А за забором проносились «Мерседесы».

Наверное, тогда, когда он любовался оттенками жести на церковной колокольне (другие думали, что он считал ворон), мелкий лавочник украл у него удачу. Он прошляпил судьбу напёрсточнику в надежде, что прав и выигрыш будет за ним. Вся жизнь его, хорошие поступки казались теперь ошибкой, и неуклюжая фигура правдоискателя, упрямца вызывала если не отвращенье, то снисходительного похлопывания по плечу: что ж, лакеем не вышел, но и юродивые в новой жизни нужны.

Кто-то отдал рассыпанные деньги девочке, он отдал ваучер держиморде. Теперь его часто берут под руки «белые воротнички» и, мягко ступая, цепляя рогами портьеры проплывающих анфилад, ведут в дальние залы и поясняют, что предательства не было, убийств тоже, имели место креатив и виртуозность нового мышления, то бишь соблюдение интересов, которые святее щита спартанца. Существуют интересы корпоративные и клановые, где предатели, оказывается, есть, их вешают за окном, и они покачиваются вдоль тротуаров под окнами офисов, где сидят послушные клерки с заячьими мохнатыми ушами. Муть устоялась, теперь нужны честность, порядочность, патриотизм, чтоб сохранить родину с их нефтью, с их лесами и с их берегами, куда его с корзиной и удочкой уже не пускают.

И вьюга осенних листьев под свешенными носками стёртых полуботинок, рябые лужи, пробежавшая мимо мышь, – всё говорит ему о мрачности дарвинизма и безысходности бунта.

И эта потерянная мышь, вековая рябь под фонарём кажутся выразительней, нежели лицо удавленника, сморщенное, будто собрался чихнуть…

В юности его не раз снимали с петли. Он не знал, что даже в шутку нельзя этого делать. В тот февральский вечер никому не было до него дела, падали мокрые хлопья снега. Я видел в сумерках его сутулую фигуру за окном. Ему не удалось в тот вечер выпить нужной дозы, искурить последнюю папиросу, потому что не было. Шёл усталый и постылый домой, в сырость и нищету с обитой фанерой, крашенной охрой дверью. Но он не был насквозь опустошён. У него была сладкая тайна. Он был ещё богат: у него была жизнь. Он знал ей цену, знал, что хмыри с вагоном денег не смогут её купить себе про запас, спрятать в банке, дабы качать с неё проценты в виде двадцать пятого часа каждых суток.

Итак, хмыри с завистью застыли возле его лачуги, в хороших ботинках, но с больными печёнками, в хороших костюмах, но с короткими шеями (оттого что их предки часто сокращались от ударов плети). А он испытывал наслаждение расточителя в предвкушении ритуала…

Его нашли притулившимся у порога внутри жилища. Он сунул в петлю голову, поджал ноги и свесился под ручкой входной двери. Я видел эту обшитую фанерой дверь. Охрой она была закрашена густо, композиционно, будто загрунтована кистью самого Ван Гога…

5

В моём саду высоки грунтовые воды, есть самодельная купель, сруб, врытый в землю. Ночью, когда мороз, я окунаюсь в чёрную воду, встаю ногами в илистую зыбкость, уходящую в глубь земли, – и ступни ощущают темноту подземелья, мир потусторонний…

Сидя в машине, мой друг чистил ногти пилкой и учил меня жить, он говорил почти со злобой, что у меня должна быть американская мечта, что нужно стремиться, преодолевать – и всё о деньгах. Он любил и холил своё тело, в ванну опускался только при наличии в ней трав и цветов. Но умер он по-русски – от запоя. Умер глупо, неряшливо… Он был отличный парень, но теперь, когда вспоминаю о нём, видится пилка, та – нержавеющая, нетленная…

Другой знакомый лет десять строил подмосковный дворец, его фундамент замешан на человеческих слезах. Как он вымерял кладку, пробовал ногтем дощечки паркета, жестоко увольнял нерадивых рабочих!.. он мечтал в этом доме пожить на славу. Наконец цель была достигнута, но ходить в сауну, в которую он с любовью устанавливал заморский котёл, а после подниматься на крылатый балкон – пить чай – он уже не мог из-за больного сердца. Приехал я к нему, увы, не на новоселье… Я вошёл во двор ветреным февральским утром. Пустая площадь, покрытая позёмкой, и розовый дворец, таранящий шпилем небо… На ручке кованых ворот, как флажок траурной эстафеты, трепетало привязанное полотенце. С лаем выбежала ко мне лохматая собачонка. Завиляла хвостом… Я понял, что опоздал, и поехал в церковь – по следам от протекторов «Кадиллака».

В церкви несчастного отпевали. Люди, которые прежде от него зависели, получили чёрные повязки и стояли с испуганными лицами. А что досталось ему? Комья мёрзлой февральской земли да печальные удары колокола, плывущие с облаками над церковным кладбищем. Я ехал обратно и смотрел на его дворец, дорогой и чуждый. Дворцовую площадь подчищал ветер. Так рабы, незримые, как воздух, спешно убирали двор Калигулы после трагедии, чтоб там вновь возвестили: «Да здравствует император!» Было жаль лохматую собачонку, любимицу покойного, которая жалась, наверное, где-то под крыльцом и поистине осталась сиротой.

Как-то я бродил среди еврейских захоронений на холмах у берегов Казанки, там особая тишина, аккуратность, на фотографиях лица, лица… и невольно подумалось: «Евреи, а – умерли».

Страшнее всего, что смерть – обыденна. Как слабый глас пролетающей галки в пасмурную погоду. Как звяканье ведра за углом. И о ней, даже о нашей, не станут возвещать небесные горны, а возле одра не будут строить рожицы черти, те, что хватают крючьями и волокут в разделочную. Сколько на земле было жизней и легло на дно океана, костьми превратились в известняк, которого нынче горы и горы на Верхнем нашем и Нижнем Услоне!

В пойме Волги широко неслась мутная масса, цепляя льдами и вздувшимися телами мамонтов высокие берега возле Шамовской больницы. Тут невольно задумаешься: что твоя жизнь? Мгновенье сверкнувшей на солнце мошки! Что бренное тело, ноющие от хвори любимые косточки? – скол известняка, камешек! И этот камешек через миллионы лет поднимет какой-нибудь мальчик и бросит прыгающим блином по глади Волги, реки, у которой будет уже другое название.

Дьявол дал человеку бессмертие, но он устал жить, бесконечное существование стало для него карой. Я ехал на машине на юг, впереди поднималась красная пыль. По дороге шли толпы неприкаянных людей с оторванными конечностями и головами, с вывалившимися суставами. Лысые женщины, с папиросами в зубах, потрясали опостылевшими стихами, повторяющимися век от века по содержанию; исписавшиеся летописцы шагали вовсе без чернил… Впереди толпы шагал президиум, а перед ним, на плечах идущих, сидел их президент с раковой коростой, прущей из мозгов. Он вёл людей к океану в суицидном марше. Люди шли с палаточ-

ными лагерями и воплями ужасного ночного секса в них (куда же от реалий деться?), – шли со знамёнами, плакатами и возгласами. Они требовали право на умирание.

Июнь, 2008

Родительское собрание

«Все желают смерти отца!»
Ф. М. Достоевский

1

Впервые я столкнулся с этим, когда умер отец Наташи Барейчевой, которую знал со времён букваря. Высокая, тонкая, в чёрных рейтузах, она стояла первая на уроках физкультуры, усердно маршировала, высоко поднимая коленки. До отроческих лет я стыдился её высокого роста, рогов из косичек, щели в зубах, больших «прощаек», а ещё вздёрнутых ягодиц и семенящей походки. Её окликали: «Наташа!», – и она подходила тотчас – шажками, покачивая головой, как китайский болванчик. Губы потресканы и до того пухлы, что она не могла их ровно сложить, будто запихала в рот пригоршню конфет. Вот её пальцы, с глубоко подрезанными ногтями, держат кончик моего пионерского галстука – комсомольский значок – чёрную бабочку выпускника. Поясняя, она тычется грудью в грудь, с печальной задумчивостью смотрит в сторону, лицо её в такую минуту бледно, нижняя губа влажна и трогательно отвисает.

Высокий рост её не смущал. Она будто заранее знала, что сдаст в старших классах, и безоглядно добавляла к макушке узел конского хвоста, который бестолково болтался при поворотах головы, создавая впечатление рассеянности и легкомысленности. Между тем она была аккуратна и старательна: тщательно отглаженная форма и белый воротничок; учебники и тетради в безукоризненной чистоте. А производству письма она даже в старших классах отдавалась душой и телом, как первоклашка: голова на плече, язык наружу, позвонок изогнут, а длинные ноги, в модных ажурах чулок, свиты, как пара ужей, – улезают в соседское пространство под партой.

Выставленный язык – признак ябед-сибариток; однако Наташа не ябедничала, даже не язвила. И если её жестоко обижали, уходила в сторону и, опустив глаза, бормотала: «Дурак какой-то…».

Наташа была первым и единственным человеком в классе, у которой умер отец.

Тогда ей исполнилось четырнадцать, кончались летние каникулы.

Ночь она провела на нашей улице, у подружки своей Гали Бочкарёвой, жившей напротив моего дома. Я привык видеть Наташу в школьной форме, а тут, по летней поре, она была в трикотажной кофте, короткой юбке и кедах. За лето она повзрослела: уже не хвост и не пара кренделей в бантиках, а – коса, пенькового цвета вервь, в пушке выгоревшая, толсто выплеталась от темени. Серая кофта выразительно подчёркивала талию, покатые плечи, и особенно – хорошую грудь.

Наташа до вечера простояла у палисада, наблюдая, как дети играют в штандары. Улица знала о её несчастье, и все действия младших девочек: прыжки, увиливание от мяча и удар водящей, – всё искало внимания старшеклассницы, пользующейся здесь симпатией. А отроки, тот возраст, который дуреет в присутствии девушки с выпирающей грудью, – жёстче били резиновым мячом о забор, чаще оборачивали раскрасневшиеся рожи в сторону палисада.

Когда начало садиться солнце, Наташа опустила голову и пошла к воротам… И было видно, как сразу устали девочки, как сдулись мальчишки, стала в тягость игра. Соединив пальцы рук, девочки выворачивали ладони над головами и, вытянув их вверх, отдыхали. Мальчишки запинули мяч в огород и тоже бродили по полю, дурацки шатаясь и расслабленно потрясая руками…

Я сидел за окном, прикрытый тюлем, и смотрел на Наташу: бывает такое – притянет, сидишь и смотришь. Но вот она ушла, мелькнул затылок, подошва кеды, и стало грустно… Закат ещё горел в листве пирамидальной груши, мерцал, как под шлаком магма, и далеко на западе распадалась полоска подгоревшего облака…

Я думал о её горе. Вспоминал её отца, которого всего один раз видел. Он стоял в яблоневом саду, упёршись ступнёй в поребрик, и смотрел в крону яблони. Клетчатая рубашка както неровно скрывала его тучность, уродливо выпирала в боку – и мне казалось, что именно эта телесная несуразность как раз и стала причиной роковой несовместимости…. Теперь он лежал на улице Привольной, грудился на одре, как страшная тайна, с опухолью в боку, с одутловатым лицом, обретал потусторонний цвет. У ворот стоял гроб, крест, с прибитым к нему венком – и нечто жуткое ощущалось в том, что к той сакральной ауре у ворот, пугающей прохожих, именно Наташа имела прямое, органическое отношение.

Утром Наташа глянула на меня исподлобья и пошла, едва кивнув на слова о соболезновании. На бледном лице – не боль, не горечь, а блёклая скука, печаль отчуждённости. Обычно отзывчивая, чувствительная, и вдруг при смерти отца – такая нелепая безучастность… Лишь много лет спустя я понял, что эта скука в её глазах, непотрясённость, – отображали лишь глубину юного женского эго, замкнутость девочки-подростка, в душе которой уже начало формироваться отчуждение от отца в силу полового созревания.

Я с детства думал о смерти моего отца. Иногда брал в руки его ладонь, тяжёлую, венозную, со стёртыми кольцами светлых волос – и ощущение, что эта рука, живая и сильная, когданибудь станет прахом, истлеет в могильной земле, не укладывалась в голове. Я боялся смерти родителей, предпочитал умереть раньше их.

Вот отец играет с соседом в шахматы: породистый череп и лучистый прищур, зачёсанная за уши волнистая седина, отросшая к вечеру на тяжёлом боксёрском подбородке щетина. И эта со вздутыми венами и закрепощёнными мышцами рука… Я, ещё мальчик, наваливаюсь на руку грудью, пытаюсь с силой вогнуть внутрь его железные пальцы, вот кажется, ему больно… Но отец, не отвлекаясь от игры, легко поворачивает кисть, высвобождает руку.

Они сидят под старой яблоней. На столе фужеры и шпроты, посеревший от августовского суховея хлеб в резной тарелке. Не сразу видна большая бутыль с янтарным яблочным вином, стоящая под деревом. Вина отец нынче выжал много, в сарае ещё две бутыли. Передерживать яблочное вино нельзя, месяца через три оно даст привкус уксуса и грусти. И в августе череда алкоголиков, когда отец добр, угощается во дворе – тянет из пиалы терпкий напиток. Я снизу смотрю, как дёргаются щетинистые кадыки и шевелятся уши, а по щекам между глотками судорогой проходят волны благодарности.

Вот я тайно вдыхаю табачный дым, болею за отца, строю «съеденные» фигуры вдоль шахматной доски и преданно сшибаю пепел с его папиросы. Кольца «Беломора» синие, для обоняния ощутимей и острей, чем сизоватый сигаретный дым от «Авроры» дяди Коли, и я, нагибаясь вновь, будто по надобности, тайно втягиваю ноздрями летающие шлеи, довольный безнаказанностью. Отец не замечает, он весь в игре, теперь я снова борюсь с его рукой, задираю рукав рубашки, разглядываю изувеченное предплечье так, чтобы видел дядя Коля, бывший во время войны мальчишкой.

– Папа, это – в Белоруссии? – спрашиваю я.

Отец не слышит, говорит: «Погоди…»

Тычусь носом в его плечо, обоняю запах ветшалой рубашки: так пахнет только папа… Краем глаза вижу траву, она колышется под яблоней, плывёт, как вековая дрёма, – и я думаю: а почему он – папа?.. Вдруг кажется мне совершенно чужим этот крупный, с мощной бочкообразной грудью беззащитный человек, в смертельной тоске я ощущаю своё вселенское одиночество, какую-то печальную избранность в этом мире…

– Пап, а ты был маленький?

То, что этому человеку было когда-то десять лет и он был пионером, я не могу представить, как и то, что он когда-нибудь умрёт.

– Ну был?!.

Вытянув руку, отец делает ход, вероятно, удовлетворительный.

– Под Житомиром, – отвечает он, наконец, и не глядя вытряхивает из пачки новую папиросу.

2

Нам уже шестнадцать. Я знаю наизусть половину Пушкина, год штудировал Льва Толстого и летаю во снах то в «Войне», то в «Мире», каждый шаг мой сопровождается голосом Толстого: «Князь задумался… князь пропустит физкультуру…»

Весь урок Наташа оборачивается назад (я сижу за нею) – и образ её: у виска букли, странные прищуры с задумчивым наклоном головы, как-то по-новому подведённые глаза, – всё говорит о перемене в ней. Теперь на её книжных закладках, полях тетрадей выведено имя потрясающего певца. Он вытеснил из её сердца Миколя, любовника Анжелики, который в своё время затмил четвёрку «Битлз». Что поделаешь с женским сердцем! Оно отрекалось даже от Наполеона, и ни штыки, ни гаубицы, ни развёрнутые ряды гвардии, в «шитых мундирах», ни даже трагедия под Вартерлоо не в силах ни принудить, ни разжалобить это сердце. Теперь каждый день после уроков Наташа бежит по коридору – мимо поникшей четвёрки «Битлз», смазливого Миколя и израненного Жофрея – в столовку, бросает в пакет пирожки и, вероломная, отвратительная в своём новом счастье, быстренько семеня – на ходу запихивая пирожки в портфель, спешит на свидание с новым гением. О, она влюблена до слёз!

– Он любит Бланку. Но она – жена его брата, а брат – композитор.

– Бланка?

– Её зовут Бланка, это имя. Он – Рафаэль. Ты знаешь… – она задумывается, опускает голову. – Ты должен пойти.

Мы едем в трамвае, она сидит, я стою рядом, держусь за поручень у её изголовья. Она поглядывает на меня из-под белой песцовой шапки и после каждой отпущенной фразы нежно разглаживает варежкой подол своего пальто, словно в подтверждение нежности своих мыслей. Лицо её доверчивое и домашнее, при этом очень бледное, и порой мне кажется, что она моя жена. Существует расхожая фраза: «Он мысленно раздевал её», я же на ту пору всякую милую особу представлял своей женой: выхвачен ли мимолётный образ из окна трамвая – это она, жена, семенит по снежку куда-нибудь в ателье; увижу ли грустный лик в глубине освещённого гастронома – это тоже она, усталая; она делает покупки и будет дома раньше меня, истопит печь, и мы будем пить чай с вареньем.

Мы сидели в затхлом кинозале «Вузовца» с огромным, медленно вращающимся пропеллером над головой, и для нас под голубым небом пел, любил и плакал испанец.

Возвращались мы тихие, будто с похорон. Глядели в окно автобуса на нашу мартовскую грязь. За мостом лежало серое плато озера Кабан, лёд посередине да чёрные берега. И вдруг мы увидели стоящую на крохотной льдине собаку. Посередине озера! Бедная, обречённая на гибель дворняга стояла неподвижно, глядела вниз, в чёрную воду, и было в этой позе какое-то безропотное недоразумение. Сколько дней она могла так простоять? И никто к ней подойти не мог: лёд целиком растрескался, превратился в сетку, как безжизненная пустыня.

Мы заговорили только возле дома Наташи. Она рассказала про несчастного воробья.

– Я не знаю, он, наверное, выпал из гнезда. Стоял посреди мостовой среди снующих автомобилей и неистово кричал. То есть клюв у него был разинут; кажется, я даже увидела красный рот. Он возмущался, но почему-то не двигался. Мне показалось, ему отдавили хвост и он как бы приклеился к асфальту. Мы с мамой увидели его из такси, шофёр дал рулём в сторону,

обошёл – и мы все обернулись, но воробья не увидели, потому что сзади шла другая машина, за ней ещё… Мы попросили: таксист развернулся и поехал обратно… И представляешь, на том месте, где был воробышек, темнели лишь перья, приклеенные к асфальту, и несколько капель брызнувшей крови… Но боже мой, как он кричал! Он был как неистовый… сказочный трубач, который возмущается несправедливостью огромного мира, куда он только что пришёл…

Наташа вдруг страшно зарыдала.

Вытирая варежкой слёзы, после она проговорила:

– Надо было видеть его горделивую позу и этот раскрытый клювик…

Вечерело. Начал падать мокрый снег.

Мимо нас прошёл мальчик со школьным ранцем за спиной. Не видя нас, он что-то бормотал под нос и вдруг упал, с глубоким стоном схватился за сердце. Мы с Наташей переглянулись…

Мальчик полежал. Затем поднялся, отряхнулся.

– Проклятый снайпер! – сказал он и, поправив ремень ранца, пошёл своей дорогой.

3

Дом, где жила Наташа, представлял из себя старинный купеческий сруб, с шатровой кровлей, рубленный в лапу и обшитый «ёлочкой». Окна выходили в заросший палисад – на улицу, где ходил единственный в нашем районе «10-й» автобус. Мы же обретались ближе к окраине, за школой. Когда-то вместо школьного футбольного поля был овраг, рассекавший посёлок надвое. Тут стояли бараки, а глубже – хибарки и запруды для кирпичного завода, который по мере использования глины передвигался на восток. В самой школе во время войны размещался госпиталь. Когда в актовом зале показывали кино, раненые через окна подтягивали на связанных простынях мальчишек. В коридоре госпиталя лежал матрос – ни рук, ни ног, мешок с кочерыжкой; как-то сердешный попросился на воздух, на свет, посадили его на подоконник, а он вздохнул и – вниз головой туда, где тополёк, а нынче вековой тополь…

За школой, в глубине посёлка, в брошенной запруде находилась госпитальная свалка, между грязных бинтов и склянок мальчишки находили и ковыряли палками ампутированные конечности. Недалеко стояли землянки, где жили беженцы. Местные девчата работали в госпитале и брали себе в мужья калек. На детской памяти – моя фронтовая улица: скрип прочных кож и сухих древес, приторочённых к культям.

В детстве я любил спать на полу, такая свобода – ночёвка в саду, на полу или сарае – разрешалась не всегда. Лежишь калачиком под окном, в глазах тьма, и слушаешь улицу. Вот прошагал прохожий… Вот с хохотом пробежала молодёжь, слышен настигающий рык и девичий визг… Палисадов в ту пору не было, люди ходили прямо под окнами, и хорошо в ночной тишине слышались шаги, чужое дыхание. Вот уже долго стоит тишина. Кажется, мир уснул накрепко… Но вдруг взвизгивает стальная пружина прямо у нашей стены, хлопает калитка, раздаются удары босых ног, кто-то бежит и с размаху шлёпается оземь. «Петя!..» – «Убью!» И я с ужасом представляю огромного дядю Петю, Витькиного отца, – будто он с поднятым кулачищем нагнулся надо мной. В месяц раз дядя Петя гоняет по улице тётю Нюру. На этот раз каким-то образом ей удаётся скрыться, она стучится к нам. Родители впускают её, и она в ужасе лезет под кровать! Устав от поисков, дядя Петя выносит балалайку и садится под фонарным столбом на скамейке, где мужики вечерами играют в домино. Огромный, с ядрёным белым телом, в широких чёрных трусах, свисающих как юбка, он склоняет голову с ребячьей чёлкой и с остервенением бьёт по струнам. Играет и час, и два…

Человек на ту пору образованный (он неплохо знал немецкий), капитан речного флота, в молодости дядя Петя исходил Волгу вдоль и поперёк. Тётя Нюра всегда рядом, как спасательная шлюпка. Десять лет они молотили судьбу паровыми плицами. Ни угла, ни колышка.

В конце концов согнулся Петро – вошёл в низкую избу матери. Широко расставив ноги в мешковатых штанах речника, прибил фуражку с якорем к низкой притолоке. Над большим оврагом он построил дом, выдвинул над обрывом кухню, как рубку, и зажил нашим соседом.

Битьё супружниц в те годы – дело привычное, как для попа кутья. В новеньких невест детвора влюблялась. Облепив окно, за которым играли свадьбу, дышали на морозе парами и вперебой обожали глазами красавицу под фатой. Она была уже «наша», и лишний раз поздороваться с ней на улице, услышать в ответ ласковый голосок было наградой. И когда эта молоденькая тётя вдруг среди ночи начинала блажить – носилась ли по двору, по крыше ли освещённого луной дровяника, укрываясь от горилловой тени супруга, нам казалось, что так должно и мило. А пронзительный вопль, лезвия женственных нот производили в паху неизъяснимую сладкую резь, и мы верили в счастье: вот вырастем и мы так будем!

Но буйство дяди Пети было особенным. Он не так прикладывал кулаки, как сокрушал среду: бил посуду и крошил топором мебель, которую купил недавно, взамен изрубленной. Это был какой-то бунт, протест. И лишь через десятки лет, в случайном разговоре тётя Нюра, уже старуха, поднесла мне разгадку.

Последние годы она проводила во дворе. Муж был парализован и лежал дома. У входа в низкие сенцы у неё стоял кухонный стол, на нём она обедала и ужинала под открытым небом. Вытерев клеёнку, сидела, глядя на облака, на ботву огурцов, на клок улицы в бреши кустарника. Да от скуки посматривала в мои владения, приставляя глаз к щели рассохшегося забора.

– Накормила, – заводила она разговор. – Спит. Всю жизнь мутузил, враг! И ведь лопает, как боров! Не успеваю готовить. Враг он и есть!

Было ей и вправду тяжело, одинокой и немощной, управляться с тяжеловесом. Мыла она его прямо на полу, на линолеуме. Как-то после мытья больной отказался возвращаться на диван. Старуха позвала меня. Я вошёл в боковушку. Дядя Петя лежал на полу нагишом, раздвинув колени, будто роженица, от вздутого живота глазела бельмастая пуповина. «Вот он, Мюллер!» – и тётя Нюра вновь начинала пенять: за прошлые тумаки, да за обжорство, да за упрямство. Но спокойно глядели на нас от полу серо-голубые глаза. Странный взгляд у паралитиков, невозмутимый и мягкий, как у грудных детей.

Он умер зимой, в крещенские морозы. Хоронили его трудно и долго. Привезли на сельское кладбище в сумерки. Но гробина не умещалась в стандарт. Земля за вечер промёрзла по срезу. Не оказалось под рукой и штыковых лопат. Искали по деревне мужиков. Пока всё сладили, наступила ночь, и гроб опускали при звёздах. Несмотря на обильные, для согрева, возлияния, многие хоронившие тогда простудились.

В горнице у тёти Нюры светло и всегда чисто убрано. Витька Клещёв, её сын, подвязанный пионерским галстуком, щурясь, сморит на меня с фотографии. Сейчас он живёт на Урале, крупный архитектор, проектировал церковь «на крови», которую возвели на месте убиенной царской семьи. С Витькой мы кидались гнилыми яблоками через забор. В руке – спартанские щиты, от прачек крышки. Вот он с соседом пробирается меж зарослей вдоль моего дома, чтоб напасть из-за угла. Я закидываю в пазуху майки кучу яблок, сколько удержит резинка трусов, и лезу на крышу. Облупившаяся краска на горячем железе прочно держит подошвы сандалий, в животе пузырится восторг. Перебираюсь через конёк и вижу: жалкий неприятель, виляя тощим задом и жалясь о крапиву, ползёт прямо подо мной. Я кричу, наводя ужас в стане врага! Враг разбегается, как от удара авиации, от затылков и плеч отскакивает ядрёная антоновка!

Витька был старше меня на год. На целый учебный – бесконечный, как Великий шёлковый путь – год! Как-то он учил вслух стихотворение о каких-то детях, которые утром проснулись – «и нет войны». Я залез на забор. Щурясь, Витька поднял книгу и не без важности показал стихотворение. Меня закачало на заборе. Такая портянка! Я ощутил ужас перед будущим, целый день слонялся грустный, ковырял пальцем в сучках заборов. Вечером пожаловался сестре, но та вынула из портфеля, хлопнула учебником немецкого, хвастливо ткнула скривив-

шимся пальцем в текст: «Вот наизусть по-немецки задали!.. А вот по литературе – «Песня о соколе», «Песня о буревестнике!». Ё-моё, какие муки готовила мне жизнь!

До последнего дня, во вдовстве уже заскорузлая, величала тётя Нюра мужа «врагом», царство отводя ему, однако, небесное.

– Я ж тогда сирота была, пошла за него, за фашиста, – говорила она беззлобно. – В войну девчонкой работала на парашютной фабрике, взяла немного шёлку – кофточку набрать. Поймали, дали год за лоскут этот. Вот и не мог забыть, ирод, ревновал к надзирателям. У них род такой. Одно слово – Клещёвы. Схватят дак, уж не отпустят! Вот и Витенька мой в Свердловске любовь закрутил. А про Аню-то ихнюю слышал? Царство ей небесное!..

4

В каждом городе, в каждом местечке когда-нибудь да жила своя Джульетта. Эту печальную историю об Ане я уже слышал, но кое-как, обрывками. Тётя Нюра рассказала мне её подробно.

Родились у Петра после войны три младшенькие сестрёнки. На фронте ли, за границей приобрёл контуженный дед Затей Клещёв пикантный опыт в строгальном деле, тут, может, и контузия что подправила – словом, получились у Затея после Победы куклы одна другой ярче. Кукла Аня была вторая, светлые волосы, синий взгляд, а бюст – задача! За ней ухаживали парни, но больше Мишка Алдошкин, приезжий с Кубани ухарь. Но как раз тогда и случилась на нашей маленькой улице страшная беда. Ватага рекрутов изнасиловала в посадке пьяную девицу: скинули с неё мужичка и готовенькой насладились в очередь. Лёшка Туманцев впотьмах аж влюбился, подкладывал ей под голову кирпич. А когда пошёл провожать, как раз навстречу – тот мужичок с дружинниками… Туманцев выдал всех. Даже Алдошкина, который в тот преступный час вылавливал неподалёку Кольку Такранова – тот бегал без трусов по железнодорожной станции, вилял задом и пугал женщин.

Дали по десять лет каждому. Туманцеву девять – за кирпич.

И выло восемь семей по улице. Вышли ко дворам родители с топорами в руках, начисто вырубили под окнами все берёзы – знак беды и неблагополучия в доме. У нас ведь как? Коль беда в доме – умер кто, пьёт горькую, или сошёл с ума – виновата берёза! Мол, чермные корни её тянут из недр нежить и порчу. И летит по всей России щепа! Валят кудрявую в палисадах и на задах. А нет сил свалить, казнят: дерут на погибель шкуру, подрубают вкруг заболонь, кислотой комель травят. Без поклона, без прощенья – за целебность листьев, за чудный жар углей в лютую стужу, за счастье в парной. И не видит люд, в беде зашоренный, что сам по судьбе – горемыка. Ещё до берёз, до сил нечистых был задуман как страдалец, и во лбу у него звезда – а на звезде написано: «от лени, от блажи, от жадности и длинного языка, а ещё от питья, от нытья, от зависти да болот, от лесной черемисской нашей юродивости!»

И глянь по селеньям: нет берёз. Все с вороньими гнёздами – вязы. А под вязами – сумерки, чёрный грай, да извечное карканье…

Отсидели все от звонка до звонка. Колька Такранов, освободившись, стал пьяницей. Лёшка Туманцев работал экспедитором. После трудов употреблял водку с колбасой возле магазина, у центральной поселковой лужи. Подходил Колька: «Лёш, налей!» – «А вон, искупайся в луже!» Такран лез в лужу, затем отряхивался, как шавка, – и ему подавали.

Сам Алдошкин освободился с туберкулёзом. Мать его завела щенка по кличке Тулик. Вырастила, откормила и насытила сына бульоном из Тулика. И стал Алдошкин-Тулик на ноги, окреп, поступил в институт, дело по тем временам великое. Аня на ту пору была уже замужем, вышла за рыжего парня Василия, что жил у чеховского рынка. Алдошкин тогда махнул рукой, умчал в Краснодар, привёз умопомрачительную казачку. И все ломали головы, кто лучше – чернобровая Вера или синеглазая Аня?

Аня родила сына, налилась солнечным молочным светом. И когда шла с ребёночком на руках к матери, развевая по плечам светлые волосы, всё вызывало в ней восторг: и улыбка, и фигура, и даже складки шёлкового платья.

Но не родись красивой…

Как-то ввечеру пожаловался Василий на боль в боку, залил грелку погорячей, прилёг с нею на диван – и к ночи лопнула слепая кишка.

Похоронили его на Арском кладбище, у ограды, напротив военного завода, где он работал, где трудилась вся наша улица и сам Алдошкин, тогда уже начальник крупного сборочного цеха. Пошли слухи: как выходят с работы люди, с той стороны дороги, из-за кладбищенской ограды слышатся стенания и плач. И так каждый день.

То причитала Аня на могиле мужа. Всё лежала, обняв сырой холмик.

Её уводили под руки, почти беспамятную. Лечили травами и заговорами. «Неба не вижу, – говорила она. – К нему хочу». Не смогла Аня изжить из сердца чёрную тоску. Не травилась, не резалась, грехом не пользовала – сама умерла от горя прямо на могиле месяца через три после похорон супруга. Там же её и похоронили.

5

А детская ночь бесконечна. Я мал и не понимаю, что счастлив. Я гляжу в темноту, там дёргаются, как жабы, зги; я ощущаю вселенную, неосмысленное «я», летающее в оболочке одеяла… Вдруг слышится странный звук, он приближается издали, сотрясает почву, взвизг и удар оземь, взвизг и удар оземь. Кажется, эти толчки я ощущаю спиной, между нами лишь доски пола и сохлая глина. Это человечьи шаги. Они звучат в ночи, как поступь монумента.

То возвращается с ночной смены отец Мишки-патрона, инвалид войны, дядя Минрахиб. Его протез – железная труба с кожаным подколенником. Труба ударяет оземь резиновым основанием, кожа подколенника скрипит и постанывает. Это не шаги, а тяжкие упоры о земной шар, и вторит им буковая палка. Инвалид ступает быстро, я вижу его чёрный плащ из болоньи, который развевается на ветру. Он строг и молчалив, я никогда не слышал его речи, кроме короткого: «Мише!..» Выйдет к воротам и крикнет: «Мише!» – и Мишка-верховода, второгодник, шишкарь (он старше нас года на два), какая бы игра ни была увлекательной, бросает всё и бежит – юркнуть в ворота у отца под мышкой.

Я завидовал Мишке: он мог прогуливать уроки, вместо занятий пёк картошку на болоте, ходил на стрельбище, имел патроны и мощные оптические линзы, и по весне, когда мы на солнце баловали прожигалками, он с усмешкой отстранял нас рукой и, наставив мощную лупу на древо, жёг его колдовским дымно-солнечным пламенем.

Он остался на год ещё раз и попал в мой класс. Я уже подрос, вытянулся в гадкого отрока, и вот мы выходим для тёмных дел из своего проулка – клочок зигзага: коренастый, как горбун, Мишка и, от верху наклоняясь и жестикулируя, сутулюсь я… У Мишки в карманах – сигареты, магниевая взрывчатка, иногда вино, которое он сливал у отца из бутылок и делился со мной в тёмных подвалах бомбоубежищ с точностью алхимика. Учёбу я забросил.

Впрочем, в том возрасте не учился никто. В двенадцать мальчишка страшен. Мозги его набекрень, оплеухой не выровнять. Ремень лишь правит, как «опаску», его злобу. Он нарочно будет курить, пить вино, сучить рукой в кармане, подглядывая в окна дамских отделений в банях. Уважайте могучую завязь мужанья! Он не спит по ночам, мечется в сновиденьях: то рвётся его плоть – из тощих лопаток вылезает склизкое, как хрящ ящера, крыло джентльмена!

Наш класс занимал кабинет географии, и я отлично знал ландшафты отчизны. Не только потому, что классная была географичка, а ещё потому, что половину уроков стоял в углу, где висела географическая карта. Я до слёз обожал Сибирь! Сплошь зелёную, изрисованную на карте ёлками. Мечтал её объездить на моём велосипеде. Прокладывал маршрут и пускался по

нему в начале каждого урока. Мечтал жить в тайге, в избе охотника. Это длилось долго – до событий во Вьетнаме. Когда там началась война, мы хотели идти туда добровольцами. «Быдло – куда?! Кому вы нужны!» – смеялся над нами повзрослевший Патрон. Кровь проливать ни за негров, ни за вьетнамцев он не хотел. Но судьба сыграла с ним злую шутку. Когда он служил в армии, его батальон одели в гражданские костюмы, посадили в баржу, гружёную лесом, и под строжайшим секретом отправили воевать в Африку. Оттуда Мишка вернулся молчаливым и чёрствым молодым человеком, а в ящике комода, в жестяной банке из-под чая, его крещёная мать вместе с распятьем хранила сыновний орден Красной звезды.

Свой класс мы оборудовали сами, установили на потолке большой компас, размером с календарь племени Майя, сделали стенды из изумительных минералов, красили стены и парты – и, в конце концов, чуть не сожгли класс дотла.

Мы уж раз поджигали школу. Помогали художнику украшать к новому году актовый зал. Однажды художник вышел, мы решили покурить. Спичек не было. Кто-то взял кусок ваты, поднёс к раскалённой спирали электроплиты, вспыхнувшая вата обожгла пыльцы – и вмиг улетела на ватный сугроб. Затрещали в огне и гирлянды, даже пыль под деревянной сценой. Дым сквозь щели запертых дверей пошёл в коридор, прибежавшие учителя сотрясали запертую дверь… Кто-то рванул к выходу, Мишка поймал его на противоходе и врезал так, что тот сел на пол, схватил ведро и плеснул в костёр. Благо в актовом зале, бывшей операционной госпиталя, имелся водяной кран, и мы загасили пламя. Наконец, ворвались учителя…

Врали мы, не сговариваясь: «была включена электроплита (художник кивнул), рядом вспыхнула вата; а не отпирали дверь от испуга: обвинят, что курили и подожгли».

Учителя отходили от шока и глубже не смели копать… Лишь Марат Касимыч, завуч по воспитательной работе, не сдался – большой и сутулый, загородил Мишку горою спины с расползающимся швом посередине и, щуря насмешливые, близко сходящиеся у переносья глаза, сказал:

– Я в щёлочку видел: курил, а?.. Ну ладно: никому-с-с-с!.. И про ширинку тоже… – один глаз завуча, как индикатор, моргал на Мишкин гульфик, который тот забыл застегнуть.

Завуч не знал, что очаг под сценой, куда не могли попасть из ведра, мы гасили через щели из гульфиков молодой упругой струёй.

И вот кабинет географии. Кроме огнеопасных красителей в нашем распоряжении были ацетон и бензин. Детки вообще любят огонь, и Мишка показал фокус. Облил руку бензином, поднёс спичку – она вспыхнула, он тряхнул рукой – погасла. Захотел того и Попандупало, Толик Ефимов. Ему налили на ладошку, подожгли, но он сдрейфил – дёрнул рукой наотмашь и сшиб с парты открытую бутылку с бензином. Гриб чёрного дыма ударился в потолок, отскочил и разом наполнил рты… Парта трещала, как жертвенник. Дым, провисая колбасной связкой, плыл из двери в коридор и тянулся дальше, к лестничным маршам, как тяжёлая грозовая туча…

Утром, придя на урок географии, учащиеся, как на экскурсии, воочию лицезрели закопчённый пещерный свод первобытного очага… Начались перешёптывания, вздохи, девочки закатывали очи к небу, все ждали, что нас попрут из школы. А тому, как удалось потушить пожар и не сжечь дотла четырёхэтажное здание с деревянными перекрытиями, где, как порох, грудилась на паутинах пыль, никто не удивился: на подобные работы в счёт погашения полученных (и будущих) двоек обычно напрашиваются сорвиголовы.

Утром же Марат Касимыч встретил в коридоре Мишку, согбенно проходя, приставил ладонь к пояснице хвостом, махнул:

– Зайди.

Патрон с потными ладонями вошёл в кабинет завуча. Марата он не боялся, страшился отца: за исключение из школы тот мог убить клюшкой.

Марат Касимыч был явно не в духе, щёки набрякшие, глаза красные; он налил из графина воды, выпил стакан залпом, будто гасил внутри вулкан. Ни словом не обмолвился о пожаре.

– Так, – сказал он, сдерживая першенье. – У нас учится Грибов, в 7«Б». Знаешь?

– Ну. Засыха.

– Молчать!.. – шея Марата Касимыча покраснела, гармошка лба стала бледной.

Мишка переступил с ноги на ногу…

Марат Касимыч сглотнул, расслабил галстук, выпил воды ещё.

– Ты же взрослый, – сказал он. – Ширинку умеешь застёгивать… – завуч пухлой рукой переложил на столе тетрадь, поднял глаза. – Его обижают. У него нет отца и мать болеет! – перешёл он на крик, и Мишке показалось, что завуч кричит на него не столько из-за Грибова, сколько за сам пожар. – Грибов – другой. Он – не вы… Заступишься за него, понял? Но без драк. Если не сделаешь, даже не здоровайся…

Образ Марата Касимыча обычно вязался у нас с насмешливой снисходительностью. Но тут завуч не шутил.

– Понял, Марат Касимыч, – кивнул смятенный Мишка.

– А теперь иди… Мударис Афинский.

До явления Марата Касимыча в школе у нас был всего один завуч. Это Сара Абрамовна. Строгая, высокая женщина с тонкими икрами и свисающим, как у пеликана, горлом. Когда она в очередной понедельник, великая и громогласная, выступала на школьной линейке, я, первоклассник, глядел на её свисающий зоб с иссиня-белой кожей и меня пробирал ужас.

Однажды два малыша-первоклашки убирались в классе после уроков. Они очень старались, натаскали воды, шмыгая носами, сотворили у доски хорошую лужу и начали передвигать парты. Когда потащили туда учительский стол, загруженный ярусами чуть ли не до потолка, стол почему-то опрокинулся. В лужу полетели стопы книг, тетрадей, наборы чернильниц. Кто сказал, что непроливайки не проливаются? Брызги учительских – фиолетовых, красных и синих – чернил окрасили лужу, как перья папуаса, а с ней и всю плавающую макулатуру. Надо представить, какой ужас, какую тоскливую немощь испытали добросовестные поселковые детки, когда осознали степень предстоящей кары. Тем более – когда на грохот прибежала с кудахтаньем учительница, а вслед за нею, тряся зобом, будто индейка, и высоченная Сара Абрамовна. Девочкой была Галя Бочкарёва, ростом едва достававшая до столешницы, а мальчиком – не трудно догадаться – был я. Бедная Галя плакала, спрятавшись за шкаф, мне тоже очень захотелось к маме. Мы покорно ждали своей участи…

Но к нашему удивлению Сара Абрамовна нас не ругала. Она даже улыбнулась, глянув сверху, как добрый журавль, а учительнице пробормотала строго что-то вроде того: тетради завести новые, классный журнал переписать – и, придерживая рукой длинный, узкий подол юбки, склонив голову, ушла, занятая, восвояси.

Её боялись не только дети. Наша толстая и вальяжная Талия Нургалеевна часто встречалась во время уроков с худосочной Ириной Матвеевной. Они давали детям задания для длительной самостоятельной работы, а сами, объединившись, принимались судачить. Чаще к флегматичной Талие прибегала подвижная Ирина, жена алкоголика, незлобивая сплетница. Однажды во время такой беседы их и застукала Сара Абрамовна – вошла в класс, будто упала дверь, и закричала зычно: «А ну марш отсюда!» Надо было видеть, с какой прытью кинулась к двери Ирина Матвеевна, раня пол стальными набойками «шпилек». Казалось, сам ужас отразился в её судорожно сократившихся икрах…

И вот появился в школе Марат Касимыч, завуч по воспитательной работе. Совершенная противоположность Саре Абрамовне. Он подавал неплохие надежды и будучи преподавателем в Казанском университете, и будучи баскетболистом в знаменитом «Униксе». Но вот закладывал за галстук… Сначала его вывели из команды, а позже из университета. Придя к нам, этот крупный дядя сразу покорил все классы. Как раз тогда была эпидемия гриппа, учителя болели,

и новый завуч ходил из класса в класс – закрывал бреши. Он рассказывал о великих мореплавателях и землепроходцах, об удивительных приключениях, о дружбе и любви. Он перевоплощался в пиратов, в людоедов, шипел, рычал и подпрыгивал – и детки слушали, едва не обнявшись от страху. Не знал Марат Касимыч, что подписал себе этим приговор. Теперь таборы детей, едва завидев его в коридоре, бежали за ним наперебой с криком: «Марат Касимыч, идёмте к нам рассказывать!..» Человеку пьющему в иное утро такое внимание было, вероятно, больше чем в тягость, и он отсиживался во время перемен в своём кабинете, пил из графина водицу…

Закончив седьмой класс, Мишка ушёл из школы, поступил на работу и с первой зарплаты повёл меня в ресторан. Нас обслужили как взрослых. Мы уже были пьяные, когда увидели в дальнем углу медвежью спину и медные кудри Марата Касимыча. Он сидел с другом. Мишка послал на его стол через официанта бутылку вина, завуч удивился и вертел головой. Мишка взял ещё бутылку и пошёл сам – узнать, кто такой Мударис Афинский.

Что тут мог сделать педагог, который сегодня утром преподавал мне географию, завуч по воспитательной работе? Что мог противопоставить он нашим открытым улыбкам? Он обнял нас и повёл на улицу, мы шагали по Кремлёвской, и он опять что-то рассказывал, вовсе забыв про друга…

В то лето, когда Мишка крутился в «шилке», шугая «фантомы» в горячих песках Африки, а я сдавал, волнуясь, экзамены в вуз, Марат Касимович погиб на курорте. Поднялась волна, высотой с двухэтажный дом, – единственная волна на всю акваторию, захватила с берега одного лишь Марата и унесла к себе, в море.

В тот год не стало и Сары Абрамовны, преподавательницы литературы, завуча по учебной части. Только в старших классах я узнал, что эта строгая женщина, перед которой все дрожали, была так нежна, бескорыстна и добра. В шестом классе я спёр в школьной библиотеке книгу – летопись монаха Никона, – о древней Руси, которую выучил наизусть. А позже узнал, что половина школьной библиотеки, исторические книги, романы – дар Сары Абрамовны школе из личной библиотеки. И в выпускной вечер, когда счастливые классы вышли в ночь, чтоб проститься с учителями и отправиться в речной порт для традиционного гулянья, Сара Абрамовна окликнула меня: «Дай-ка я тебя поцелую!» И когда она прикасалась губами к моей щеке, я со жгучим стыдом вспомнил об украденной книге. Я неуклюже простился с ней, об этом жалею. Но не жалею о книге, это единственная память о ней.

6

Наш общий знакомец Антон Хусейнов учился в другой школе, но дружил с нами: играл в хоккей на нашей коробке, танцевал на вечерах в школе, и его принимали как своего.

Есть люди изначально комичные. Любые их начинания, какими бы вертикальными ни были, в итоге превращаются в фарс, в прыск, в пародию… Человек стучит подошвами совершать подвиг, но спотыкается и квасит нос о штакетник, закидывает уду на щуку, но ловит себя крючком за ухо. И в конце концов от высокого дела – от славы, от денег или даже от гибели – его спасёт судьбоносный понос или враг бесшабашности, друг степенности и бережёного долголетия, геморрой.

Взять даже внешность. Казалось бы, у Антона правильные черты лица, хорошая стать, безукоризненная речь и даже череп – арийский слепок! Но при глупейших обстоятельствах, бесовской каверзе звёзд двуликий Янус поворачивает не ту ягодицу – и меняется судьба, весь образ, – он ломается, словно в мутных потоках дождя за стеклом. И правильная фигура кажется однобокой, лицо плебейским и даже череп становится похож на рахитическую тыкву обритого под лоск тибетского монаха.

Вот красавцем Антон стоит высоко на сугробе против дверей школы, он ждёт товарищей с уроков. Родители купили ему драповое пальто, литые плечи и каракулевый воротник, на голове пыжится дорогая шапка. Вчерашний мальчик – он уже не мальчик: там, где присыхали сопли, теперь темнеет гусарский пушок. Антон красуется на сугробе, статен! И плющат старшеклассницы об окна носы, подзывают подруг, начинаются расспросы, возможно, кто-то напишет – и завтра ему передадут стихи…

Но ухмыляется подлый Янус.

Антон видит выходящих друзей. Они ему машут, он тоже, вот тянет вперёд руку, делает шаг… но проваливается одной ногой в сугроб, другая зависает… Он летит нырком в снег, шапка катится, обнажая сплюснутую голову, а руки улезают в сугроб, задрав рукава пальто, обнажая костлявые, ещё детские локти… И разочарованно удаляются томные взоры от окон, и не будет уже ни стихов, ни записок.

Между тем Антон поднимается, будто воды в реках текут по-прежнему, и как ни в чём не бывало вытрясает из рукавов снег. Смеясь, о чём-то рассказывает и при этом умудряется даже заикаться, чего прежде за ним никогда не наблюдалось.

Таков был Антон.

И вот этот вчерашний отрок влюбляется в нашу Наталью Барейчеву.

– Кто такой? – спрашивает она у подвильнувшего дипломата.

– Антон. Ну, Антон!

– Это который… «скворечник»?

Скворечник – это кличка Антона. Дело в том, что в детстве ему на голову падал скворечник. Обыкновенный, деревянный. Торчал на высокой жердине на границе с соседним участком. И вздумалось мальчугану переместить его поближе к своим яблоням, чтобы уничтожали скворцы только своих вредителей. Но как снять? И начал Антон подрубать жердину у основания. Но откуда у мальчишки острый топор? Он им и жесть, и проволоку, и лёд на кирпичных дорожках рубит… Ударами Антон жердину лишь раскачал. Да так, что отломились наверху ржавые гвозди. И полетел ещё мокрый от мартовского снега птичий дом со свистом вниз, как немецко-фашисткая бомба…

Хорошо, что на голове мальчугана была меховая шапка с верхом из толстой свиной кожи. Да ещё скворечник по темени скатом пришёлся. Ткнулся мальчишка лицом в снег, пролежал в беспамятстве, не помня сколько. Потом встал, снял ушанку, потрогал голову: ни шишкаря, ни болячки!..

Удар скворечника не беда. Беда в другом заключилась. Угораздило Антона в юношескую-то пору, да во время застолья, рассказать об этом приятелям! И хохотали друзья, раскачивался стол; вспоминая его несчастья и казусы, кричали: «Вот, вот в чём причина! вот откуда кактус растёт!..» Антон смущённо улыбался, скромно молчал и уж благодарил в душе Бога за то, что не успел рассказать и о том, как он не поверил рассказу в книге о мальчике, который надел на голову чугунок, и того спасали всем миром – и тоже надел на голову чугунок, и с ним тоже стало, как в книге; и о том, как он поднял в магазине кем-то звонко рассыпанные по кафелю юбилейные рубли с изображением Ленина и в порыве благородства отдал продавщице, сказав при этом, что у него тоже есть дома такие, а дома вдруг обнаружил, что отдал свои – те, что копил, экономя на обедах; и о том, как на барахолке снял с себя и дал померить незнакомому парню дорогие американские джинсы, получил в челюсть и, очнувшись, пошёл в трусах ловить такси; и о том, как решил накачать мускулатуру, купил мощный, на стальных пружинах, эспандер – и чуть не убил себя по той же голове ручкой этого эспандера, могуче сорвавшейся при натяжении со ступни, рассёкшей темя и отправившей его в длительное беспамятство.

Тогда за столом и утвердили: да, всему причина есть скворечник!

И теперь всегда, если разговор касался Антона, безнадёжно махали в его сторону рукой: да что с него взять! Ему же на башку того… скворечник!

Но Антона ценили как раз за эту несуразность, добродушие и безобидность. И пробивали пути к Наташе.

Длинноногая Наташа подходила тотчас, как только её окликали.

Ей рисовали и разукрашивали…

Стоя визави, она надувала губы…

Ей внушали, пеняли, талдычили!

Она задумчиво отворачивала бледное лицо в сторону…

– Отличный парень! – кричали ей.

– Ну, пусть подойдёт, я же не кусаюсь, – сдавалась она наконец.

Антон являлся на школьные вечера, удачно закусывал вино мускатным орехом, и наши строгие завучи, стоящие на страже школьных дверей, его пропускали. Приходил ради Наташи, но не смел пригласить её на танец. Так пропал целый учебно-танцевальный год. Мы перешли в десятый. На вечере в честь Октября мы буквально толкали его в спину, но он упирался и шипел. Наступил Новый год. В конце концов Антон решился. Был великолепный бал. Девушки сделали причёски, надели маски и, словно сошедшие с очарованных берегов, веяли чудными духами. Ребята надели бабочки.

Антон стоял у стены, и даже чёрная маска «Мистера Х» не могла скрыть его бледность. Как в боксёрском углу, его обмахивали, окучивали советами, как подойти и что сказать. О решении Антона знала вся школа. Загадочно улыбались девочки и молодые учителя. У двери Сара Абрамовна, в длинном бисерном платье, зауженном у колен, стояла, как русалка на хвосте, – и, оборачиваясь в сторону Антона, со скрытой улыбкой мелко покусывала губы.

Антон выжидал. И вот момент упал, как гиря с неба! Антон сказал – и все расступились. Он шагнул, как на подвиг. Было видно, как торжественно он скосил голову с великолепной укладкой, как шикарно, держа корпус наискосок, пересёк зал. Он остановился напротив Наташи, шаркнул, кивнул и протянул руку.

Наташа сделала реверанс, и они прошли в середину зала…

Она опустила руку ему на плечо, он взял её за талию, и они стали передвигаться в медленном танце. Исполнялась вытягивающая душу песня «В мокром саду…»

Всё шло отлично, и ничто не предвещало беды. «Вот так решаются судьбы» – с грустной удовлетворённостью подумали мы. И уже было вытащили по сигарете и двинулись к туалету… как в зале раздался душераздирающий крик. И крик этот был ужасен!

Ничто перед этим криком вопль погибающего динозавра. Ничто – крик ростовщика, который всю жизнь копил и вдруг обнаружил, что ограблен до нитки! Взвизгнула игла проигрывателя, песня оборвалась. Мы обернулись. Кто-то лежал на полу посреди зала… О, это был наш Антон! Он валялся возле ног Наташи и отвратительно орал, корчась. При этом держался обеими руками за одно место, называемое конечность…

То, что случилось, было нелепо, смешно и драматично. Это всё равно, что смерть от клюва попугая.

А случилось вот что. Передвигаясь в танце, партнёры, естественно, касаются друг друга. И с Антоном произошло то, что случается с человечеством раз в сто, а быть может, в тысячу лет. Коленная чашка Наташи пришлась прямо под колено Антона. Девичья, точёная, мраморная, как у Венеры Милосской, напряглась – и сковырнула коленную чашку расслабившегося в мечтаниях Антона, как яичную скорлупу!

Он упал, как срезанный.

И блажил, блажил, блажил…

Бедного мы унесли на руках в машину прибывшей «скорой помощи».

Такова его судьба. Смещённая ударом скворечника карма.

7

Глядя на фотографию, замечаю, что у Наташи редкие карие глаза и классическая родинка над верхней губой – именно та, о которой мечтают многие девушки и рисуют карандашом. При всей лёгкости у неё была заметная грудь, которую особенно подчёркивала школьная форма. В ту пору ещё не было акселераток и бройлерных конечностей – и, стыдясь своих длинных ног, Наташа пыталась укоротить их за счёт низких каблуков и коротких подолов.

Мы особенно сдружились в конце десятого, вместе отмечали дни рождения и праздники. Во время перекуров целовались, сидя на подоконниках тёплых подъездов. Я не знал поцелуев слаще! Губы её были нежны и неисчерпаемы, отчего сильно кружилась голова. Когда я отстранялся, она улыбалась, не снимая рук с плеч, и было видно, как она любит целоваться. Следующий поцелуй был слаще! На школьных вечерах она выглядела изящно, платья её были воздушные, тёмные волосы укладывались в букли.

Я знавал девичьи талии: широкие и тонкие, рыхлые и костистые, – нечто неодушевлённое, это были поясницы, бока, спины. Но когда танцевал с Наташей, рука не ощущала плоти, талия будто подтаивала под ладонью.

В юности привлекает таинственность, в зрелости наоборот – прозрачность и откровение чистоты. Влюбиться в Наташу мы не могли, она была слишком нашей, а классная родственность пугала, как угроза кровосмешения. Интересовали нас больше незнакомки, возрастом постарше. Несколько загадочные, с оттенком порока и разочарованности, с туманным взором или какой-нибудь театральной хрипотцой. И не знали мы, что хрипота – от курения, томный взгляд – от вина, загадочность – от её измен, а печать разочарования – от неудач и унижений. Но что делать?! Доступная зрелая грудь – сродни материнской!

Однажды весной после уроков старшие классы пригласили в актовый зал. Приглашение было объявлено с некоторым замысловатым почтением. Да что и говорить! Десятый класс! Весна и молодость, и всё впереди! Мы ощущали свою значимость, это чувство поддерживали и наши учителя.

Войдя в зал, мы увидели к своему удивлению стоящего у кафедры Алексея Николаевича, директора школы, который программные дисциплины уже не преподавал. Он улыбался и приглашал садиться.

У нас часто менялись преподаватели, но образ директора был константой. Это был директор всего нашего детства. И это был великан. Снежный человек в костюме и галстуке. Однако части тела его были удивительно пропорциональны. Будто взяли коренастого атлета и увеличили раза в три: получалась необозримая спина, лошадиная челюсть, а икры ног – трубами. Другие люди его роста, которых я мысленно уменьшал в обратной пропорции, становились уродцами: сужались до смешного плечи, черты лица мельчали, сокращались до обезьяньих, а уменьшённая голова вовсе походила на черепашью.

Как бы ни звучало банально, но доброта и ширина улыбки Алексея Николаевича соответствовали размаху его плеч. Он вызывал доверие, и хулиганы не боялись приводов в его кабинет, заранее зная, что их с добрым словом отпустят. Он обожал хоккей, при нём сборная школы стала чемпионом республики. Вот и сам он в крещенский мороз, обтянутый голубой «олимпийкой», с инеем на плечах неумело катится, с клюшкой в руке, по льду школьной коробки. Юркая малышня, мелькая между мускулистых ног, обводит его, как истукана. Вижу его с семьёй и в летнем лагере на реке Мёше: он, жена и дошкольник сын – громадные люди в купальных костюмах стоят в зарослях ивы, как олимпийские боги. Жена бела телом, распущены тёмные волосы, она мазью растирает мужу обгоревшую на солнце спину, рядом мучительно чешется сдобный Гаргантюа, весь искусанный комарами.

– Дорогие ребята! – начал директор, когда десятиклассники уселись. – Я хочу рассказать вам одну небольшую историю, замечательное приключение, которое случилось со мной в юности и изменило мою жизнь.

Это был 1956 год. Я ступил на порог юности. У меня был дядя, научный сотрудник. Както я приехал к нему в гости, но дома его не оказалось; меня отвели в его библиотеку и оставили одного. Я начал просматривать книги на полках. И мне случайно попал в руки томик стихов. Я открыл наугад, прочитал: «Выткался на озере алый цвет зари. На реке со звонами плачут глухари…» Я открыл другую страницу: «Вы помните, вы все, конечно, помните…» Да, это был Сергей Есенин! Тогда он был запрещён. Я попросил у дяди эту книгу и дома переписал её всю в свои тетради. С тех пор я не расстаюсь с его стихами…

День поэзии Есенина Алексей Николаевич провёл великолепно, он читал стихи широко и вольно, размахивал ручищами и улыбался на всю ширину своих кашалотовых скул. Мы выходили из актового зала просветлённые, удовлетворённые; тем более что Есенин, недавно включённый в учебную программу, среди школьников был моден.

На улице стояла мартовская оттепель. К полудню всё обмякло, пахло талым снегом, во влажном воздухе, свистя крыльями, низко кружило вороньё. Мы шли гурьбой, перепрыгивали через лужи.

– Кстати, я иду в литобъединеие при музее Горького, – сказал я Наташе. – Там собирается молодёжь. Нужно переписать стихи в трёх экземплярах, прочтёшь – и тебя обсудят. Пойдёшь? – спросил я, – ты ведь тоже пишешь?

– Боже упаси! – испугалась Наташа, хватаясь за грудь. – Обсуждаться! Не-ет!.. И с чем?

– Ты не бери стихов, а так – посмотришь. Там по пятницам собираются. Значит, завтра. Идём?

– Галь, пойдёшь? – спросила Наташа у подруги. Галя Бочкарёва, маленькая и кургузая математичка, шагала впереди, приспустив плечо от тяжести портфеля.

– Ну да ещё! – был ответ.

– Я схожу, – сказала Наташа, – и потом мне нужно писать реферат о современной поэзии, – добавила она, чтобы смягчить измену перед подругой.

– А новая тема?! – ужалила Галя; её синие боты, раздутые в голенищах крепкими икрами, уверенно давили мельхиоровую кашицу.

Наташа закинула голову, положила её на плечо и, на ходу глядя мне в глаза с серьёзным выражением лица, проговорила:

– Мы договаривались заниматься в выходные, а я иду в пятницу.

8

Занятия Лито проводились на втором этаже музея, в актовом зале, куда вела скрипучая деревянная лестница. Кружковцы размещались на стульях, где придётся, читали стихи и разбирали.

На ту пору я увлекался Пушкиным. Меня уже не раз громили за подражание. Но я упрямился.

Благодарить, просить прощенья,
И на прощание желать, —
Всё, всё обидный голос мщенья,
К тому, что трудно потерять, —

закончил я стихотворение осипшим от волнения голосом, раздал листочки и сел неподалёку от Наташи.

В зале стало тихо. Никто не хотел говорить. Опусы школьника не слишком интересовали старшекурсников журналистики, среди которых мелькали потрёпанной одёжкой довольно сильные поэты. Руководитель кружка, Зарецкий Марк Давидович, чернявый мужчина с шевелюрой, ходил между рядами, с интересом поглядывая на присутствующих.

– Витиевато, – сказал наконец Сергей Карасёв, невысокий очкарик с мощной, выпирающей у подбородка грудью, отчего имел сходство с карликом. – Стихи надо писать тем языком, на котором говоришь в жизни. Да и семенит автор: «всё, всё», а в начале – нагромождение гласных…

– Однако «на прощание желать» – неплохо, если это, конечно, желание, а не пожелание, – произнёс Марк Давидович и с нарочитой улыбкой плотоядности оглядел присутствующих. Но все молчали. – Ну, ребята, так не пойдёт! – сказал он обиженным тоном. – Человек написал стихотворение, принёс на ваш суд, а разбирать его должен только руководитель.

– А по-моему, хорошо! – обернулся с переднего кресла крупный мужчина с сильным, окающим голосом. – Вы все бьёте его. Но пусть юноша лучше у Пушкина учится, чем у Вознесенского, не ошибётся на первых порах, а после возьмёт своё.

Тогда ко мне подсел молодой человек, тоже старшекурсник, но студент физфака, худощавый, с прямыми отросшими волосами и длинным, насморочным носом. Устроившись сбоку, он задумчиво соединил кончики пальцев обеих рук, затем вдруг собрал сухощавое лицо в гармошку, будто его поперчили, и, выдержав паузу, произнёс:

– Вы подражаете Пушкину, в прошлый раз принесли стихи о его дуэли, – он говорил скороговоркой, иногда слова проглатывал. – Но вы уверены, что знаете Пушкина?

Я кивнул.

У меня на тот момент в этом сомнений не было, я действительно знал наизусть немало стихов Пушкина, они запоминались очень легко.

Молодой человек упёр локоть в колено, пальцами ухватил свой подбородок и произнёс:

– Скажите тогда, что означает фраза из «Евгения Онегина», где дядя «не в шутку занемог», – он потёр слезящиеся глаза, – что означает фраза: «Он уважать себя заставил»?

Чувствуя в вопросе подвох, я ответил не сразу.

– Заболел, – медленно проговорил я.

– Нет, он умер! – коротко сказал студент. Он поднялся с места и прошёлся.

Марк Давидович с видимым интересом подошёл ближе, но не вмешивался.

– «Уважать себя заставил» в простонародье означает: «дал дуба», – продолжил физик, – это синоним фразы: «приказал долго жить».

– Гм… Не совсем убедительно, – заметил Марк Давидович.

– Убедительно! – возразил физик, – потому что дальше идёт: «Его пример – другим наука»

– Интересно… – сказал Марк Давидович и задумался. – «Его пример – другим наука…» Да, это означает – умер! Вот видите…

Я был взволнован, интуитивно чувствовал, что это не так, но промолчал из боязни запутаться, кругом сидели ребята серьёзные, по части образованности я им уступал, да и смущала меня Наташа, я боялся в её глазах выглядеть смешным и беспомощным.

– Не переживай! – говорила она потом на улице, на ходу застёгиваясь, пряча грудное тепло в пальто. – Стихи твои мне нравятся. Хорошие стихи.

«Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых», – вертелось у меня в голове.

– А что до подражания, то все вначале подражали, – продолжала Наташа. – Через подражание формируется собственный стиль. Главное знать, кому подражать. Прав этот… окающий дядя. Лермонтов ведь тоже подражал Пушкину, а Пушкин – Байрону.

– Погоди! – сказал я. – А ведь он не умер, дядя-то. Врёт этот физик. Где-то вычитал, а сам не знает и не любит Пушкина. Смотри, что дальше … «Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарство, вздыхать и думать про себя: «Когда же чёрт возьмёт тебя». Так думал молодой повеса…» И смотри, что дальше: когда он приехал к дяде, то: «Его нашёл уж на столе, как дань, готовую земле». Вот с какого момента Онегин и мы узнаём, что дядя дуба дал, и получается, что наш «повеса» не знал, что его дядя мёртв в тот момент, когда произносилась эта самая фраза: «Он уважать себя заставил»!

Меня охватила внезапная радость, я почувствовал себя увереннее.

– Наташа, – сказал я, – я не то что пишу стихи…. Я пока познаю язык, который знаю плохо. У меня не было возможности с детства впитать русский язык. Мне трудно. Я косноязычен. И то, что для другого в языке само собой разумеющееся, для меня – открытие. Как-то летом мне соседка попалась, поднялась из оврага по лестнице, обернулась и говорит: «Гроза будет, птицы низко и небо *мреет*». От этой фразы повеяло грозой больше, чем от неба. А вот казаки Пугачёва, узнав, что на них движется царское войско и плахи не миновать, – *затосковали животами*.

– Знаешь, – продолжал я, – я думаю, что инородец или человек, выросший в нерусской среде, неумело подходит к русской стилистике и этим невольно экспериментирует. Язык его неправильный и потому смелый, запоминающийся. Вот Гоголь, вырос на Украине, а как плетёт! А Рустем Кутуй. Какие стихи о кочевниках, узкие глаза в свете костров, – чудо! Не хуже, чем у Блока. Тут есть ещё один момент. Казалось бы, у аборигена все козыри и он видит себя как бы в зеркале, потому что он сам прямое отражение языка. Но в зеркале он может видеть себя только анфас. А вот в отношении национальной глубины, – тут поёт кровь! Тут инородец по духу уступит. Пусть абориген перед зеркалом не видит себя и не слышит. Пусть он слеп и глух. Но он слеп и глух по-особенному. Он слеп, как Гомер, и глух, как глухарь, который самозабвенно предаётся любовной песне на току и не слышит приближения смерти! Таков Есенин!..

– Ты умный.

– Просто я много думаю об этом. Это из моей статьи…

Мы помолчали. Пошёл крупный, мокрый снег. Над нами, рядом с одинокой сосной, горел фонарь. Снежинки вились под ярким диском, похожим на луну, стремились к земле, и как-то обречённо висела в конусе света зелёная ветка сосны.

– У меня спина мёрзнет, – сказала Наташа, затем добавила: – А знаешь, почему?

– Почему?

– Потому, что у меня талия тонкая, а бёдра широкие, пальто не плотно примыкает. Вот и проходит холодный воздух.

– Давай потру, – сказал я и начал расстёгивать её пальто.

– Грабят, – прошептала Наташа, закрыв глаза.

Я повернул её и поцеловал в губы.

– Хочу на пляж, – сказала Наташа. – Чтоб солнце пекло.

И я представил горячий пляж, её раскалённые волосы падают мне на лицо, они пахнут ветрами Сахары…

– Губы шершавые? – спросила Наташа.

– Обветренные. И на руках цыпки, – пошутил я.

– Что это?

– Это я так, о детстве, – сказал я, тихонько растирая ладонью её хрупкую спину. – Весной, когда мы пускали кораблики в холодной воде, на руках появлялись цыпки – это кожа на тыльной стороне ладони шелушится.

– Не-ет, такого, сударь, у нас нет, – возмутилась девушка.

– Наташ, ты по-прежнему певца любишь?

– Какого певца?

– Рафаэля. Испанца.

– Ой, детское!..

– А что нынче – не детское? – спросил я.

– Не детское… – Наташа то ли задумалась, то ли не решалась признаться. Наконец сказала: – Афанасьев.

– Это кто – артист?

– Нет, выпускник из соседней школы.

– Где ты его откопала?

– На улице. Как в романе. Я поскользнулась, упала, он помог встать, отряхнул, проводил до дома.

– Ты встречаешься с ним?

Наташа засмеялась:

– Ты, кажется, ревнуешь?..

Я на самом деле ревновал. Мне было неприятно, целуясь с нею, слышать о каком-то там Афанасьеве. Если в семнадцать лет каждая девушка считает себя принцессой, то почему бы юноше не мнить себя принцем!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.